УДК 130.2
ББК 71.0
Л93

Составитель серии
ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ

Дизайн серии
ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ

Научный редактор
ВИТАЛИЙ КУРЕННОЙ

Люббе, Г.

Л93 В ногу со временем. Сокращенное пребывание в настоящем [Текст] / пер. с нем. А. Григорьева, В. Куренного; под науч. ред. В. Куренного; вступ. ст., сост. указ. В. Куренного, М. Румянцевой; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. — 2-е изд. — 456 с. — (Исследования культуры). — 600 экз. — ISBN 978-5-7598-1918-9 (в пер.). — ISBN 978-5-7598-1860-1 (e-book).

В динамической цивилизации модерна увеличивается скорость обновления науки и техники, искусства и экономики, политики и права. Уменьшается период времени устойчивой работы и жизни. Наше пребывание в настоящем сокращается. Время становится ограниченным, а потому нуждается в социальной и технической организации — как среда координации наших действий. В работе Германа Люббе разворачивается широкая панорама темпоральной структуры нашей цивилизации. Почему прогресс, устремленный в будущее, умножает число форм исторической культуры? Почему художественный и интеллектуальный авангардизм склоняется к поддержке тоталитарных режимов? Как архивы и библиотеки справляются с нарастающим потоком информации? Таковы только некоторые из вопросов, на которые дает ответы эта книга.

Издание предназначено для ученых, студентов и всех, кто стремится ориентироваться в современных культурных процессах.

УДК 130.2
ББК 71.0

Translation from the German language edition: *Im Zug der Zeit* by Hermann Lübbe.

Опубликовано Издательским домом Высшей школы экономики <http://id.hse.ru>

doi:10.17323/978-5-7598-1918-9

ISBN 978-5-7598-1918-9 (в пер.)
ISBN 978-5-7598-1860-1 (e-book)
ISBN 3-540-00202-2 (нем.)

Copyright © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1992, 1994, 2003
Springer is a part of Springer Science+Business Media.
All rights reserved.

© Перевод на рус. яз.
Издательский дом Высшей школы экономики, 2016; 2019

СОДЕРЖАНИЕ

В. Куренной, М. Румянцева
ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ ГЕРМАНА ЛЮББЕ VII

ПРЕДИСЛОВИЕ 3
ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ 8
ВВЕДЕНИЕ. 9
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
О СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПО ТЕОРИИ ВРЕМЕНИ. 31

1. ТРУДНОСТИ С ПАМЯТЬЮ.
ОБ ОТНОШЕНИИ К ПРОШЛОМУ В ХОДЕ ПРОГРЕССА 41
1.1. НАСТОЯЩЕЕ МЕРТВЫХ. ИСТОРИЗИРОВАННОЕ КЛАДБИЩЕ
И АНОНИМНЫЕ ЗАХОРОНЕНИЯ 43
1.2. ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ, ИЛИ ПАРАДОКСЫ
СТРЕМЛЕНИЯ СТАРОЕ ВНОВЬ СДЕЛАТЬ СТАРЫМ 58
1.3. ИСТОРИЗИРОВАННЫЙ МОДЕРН ИЛИ ПОСТМОДЕРН. 77
1.4. ЭКСКУРС В ОБЛАСТЬ АРХИТЕКТУРНОГО ВОССОЗДАНИЯ. 88

2. АВАНГАРД, ИЛИ КАК ПРОТИВ ВОЛИ ДЕЛАЮТ ПРОШЛОЕ
ВСЕ БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫМ 91
2.1. ПАРАДОКС АВАНГАРДА:
ПРОШЛОЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К СОВРЕМЕННОСТИ 93
2.2. ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ АВАНГАРДА:
ЭКЛЕКТИКА И КЛАССИКА 107

3. АВАНГАРД И УПРАВЛЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКИМ СМЫСЛОМ ИСТОРИИ 117
3.1. АВАНГАРДИСТСКОЕ ИСКУССТВО
И ТОТАЛИТАРНОЕ ГОСПОДСТВО 119
3.2. ПОЛИТИЧЕСКИЙ АВАНГАРДИЗМ,
ИЛИ ПРОГРЕСС И ТЕРРОР 135

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДИНАМИКА
И ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВНОЙ ТРАДИЦИИ. 151
4.1. БЮРОКРАТИЯ И РОСТ КОЛИЧЕСТВА РЕЛИКТОВ 153
4.2. АРХИВНЫЙ ОТБОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ 164
4.3. ПРЕЦЕПЦИЯ, ИЛИ СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ
БУДУЩЕЙ РЕЦЕПЦИИ ПРОШЛОГО 185
4.4. БИБЛИОТЕКИ-КНИГОХРАНИЛИЩА,
ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗДЕЛЕНИЯ
АКТУАЛЬНОЙ И УСТАРЕВШЕЙ ИНФОРМАЦИИ 204

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДИНАМИКА
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 219
5.1. НАУЧНО-КУЛЬТУРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ДИНАМИЗИРОВАННОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 221
5.2. СГУЩЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В ХОДЕ ЭВОЛЮЦИИ ТЕХНИКИ 240

6. ЭКСКУРСЫ 255
6.1. ЭКСКУРС I.
КУЛЬТУРНО-РЕВОЛЮЦИОННОЕ УСКОРЕНИЕ.
КАЗАТЬСЯ ИЛИ БЫТЬ? 257
6.2. ЭКСКУРС II.
СПОР О КОМПЕНСАТОРНОЙ ФУНКЦИИ НАУК О ДУХЕ 267

7. ИМПЕРАТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕМЕНИ 287
7.1. ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ТЕХНИКОЙ ИМПЕРАТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕМЕНИ 289
7.2. ВРЕМЯ КАК СРЕДСТВО КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ.
СОЦИАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ИМПЕРАТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕМЕНИ 298

8. ВЫИГРЫШИ ВО ВРЕМЕНИ И КУЛЬТУРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕМЕНИ 311
8.1. ВРЕМЯ КАК СВОБОДА 313
8.2. КУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВИЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СВОБОДЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ . . . 326

9. ВРЕМЯ ПЕРЕЖИВАЕМОЕ И ВРЕМЯ ИЗМЕРЯЕМОЕ 341
9.1. СУБЪЕКТИВНОЕ И ОБЪЕКТИВНОЕ ВРЕМЯ 343
9.2. ВРЕМЯ КУЛЬТУРЫ И ВРЕМЯ ПРИРОДЫ 363

ПОСЛЕСЛОВИЕ 379
I. СОКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО.
НОВОЕ ПОНЯТИЕ ВЫЗЫВАЕТ ИНТЕРЕС 381
II. ВЫИГРЫШИ ВО ВРЕМЕНИ
И АКТУАЛЬНОСТЬ МОРАЛИСТИКИ ВРЕМЕНИ 387
III. ИЗДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ
КАК СМЫСЛОВАЯ ГРАНИЦА ИННОВАЦИЙ 396
IV. РАСЦВЕТ НАУК О ДУХЕ И БУДУЩЕЕ ВОСПОМИНАНИЯ 406

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 416
ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 424

ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ ГЕРМАНА ЛЮББЕ

Виталий Куренной
Мария Румянцева

Предложенное вниманию читателя издание представляет собой первый перевод на русский язык книги немецкого философа Германа Люббе (1926 г. р.)[1]. Люббе принадлежит к числу наиболее значительных современных немецких мыслителей, оказавших глубокое влияние не только на интеллектуальный и философский, но также политический и культурный ландшафт Германии, начиная с 60-х годов XX века.

Его творческий путь не только необычайно продолжителен, но и столь же необычайно продуктивен: работы Люббе посвящены самому широкому спектру тематических вопросов — от политики и морали до истории философии[2]. Даже краткий обзор многообразия этой интеллектуальной деятельности вышел бы далеко за рамки небольшой вводной статьи, поэтому мы остановимся лишь на основных аспектах его творчества, позволяющих составить представление о некоторых сквозных особенностях его философской позиции, а также на тех узловых моментах, которые позволяют понять его положение в историческом пространстве современной немецкой интеллектуальной и политической культуры.

ФИЛОСОФ «СКЕПТИЧЕСКОГО ПОКОЛЕНИЯ»

Герман Люббе родился 31 декабря 1926 г. в Аурихе (Нижняя Саксония). Не достигнув 17 лет, в 1943 г. он был призван на морскую военную службу. В Германии таких молодых людей называют поколением «помощников зенитчиков» (Flakhelfer) — по сути, дети-солдаты. После пребывания в советском плену в 1946 г. он изучал философию, теологию и социологию в университетах Гёттингена, Мюнстера и Фрайбурга в Брейсгау, где в 1951 г. защитился у Вильгельма Сцилази.

После защиты докторской диссертации, посвященной проблематике «вещи самой по себе» у Канта, работал ассистентом Герхарда Крюгера во Франкфурте-на-Майне, а также в университете Эрлангена и Кёльна. Во время работы во Франкфурте посещал семинары Теодора Адорно и Макса Хоркхаймера. В 1957 г.

[1] До этого на русском языке были представлены отдельные разрозненные переводы статей Люббе (основные из них будут указаны ниже). Особо следует отметить в этом ряду перевод работы «В ногу со временем. О сокращении нашего пребывания в настоящем» (Вопросы философии. 1994. № 4), выполненный Николаем Плотниковым. Этот небольшой текст представляет собой подготовленное самим Германом Люббе краткое изложение некоторых основных положений настоящей книги.

[2] Герман Люббе опубликовал более 30 монографий. К числу важнейших из них исследователи, в частности Марк Шведа, относят «Понятие истории и исторический интерес. Аналитика и прагматика истории» (1977), «Религия после Просвещения: О необходимости практического разума» (1986), а также представленную здесь работу «В ногу со временем. Сокращенное пребывание в настоящем» (первое издание — 1992).

защитил в Эрлангене у Герхарда Крюгера габилитационную работу «Трансцендентальная философия и проблема истории. Исследование генезиса философии истории (Кант, Фихте, Шеллинг)».

Преподавал — сначала как приват-доцент, позднее — в качестве профессора — в университетах Эрлангена, Гамбурга, Кёльна и Мюнстера. В 1963 г. становится ординарным профессором в новом Рурском университете (Бохум), в 1969 г. — в Билефельде. С 1971 г. до своего выхода на пенсию в 1991 г. занимает позицию профессора философии и политической теории в Университете Цюриха (причиной переезда из Германии в Швейцарию стали угрозы его семье со стороны левых радикалов). Помимо этого он в 1966–1970 гг. работал на различных постах в правительстве Земли Северный Рейн-Вестфалия. Герман Люббе является членом различных научных обществ в Германии и за ее пределами, был удостоен множества наград и премий, в частности, является лауреатом премии Эрнста Роберта Курциуса по эссеистике (1990) и премии Ганса-Мартина Шлейера (1994).

Герман Люббе принадлежит к специфическому послевоенному поколению немецких мыслителей. Пережитый опыт краха Третьего рейха, который для молодого человека являлся герметически замкнутым миром, основанным на нацистской идеологии, позволяет отнести Люббе к той социальной группе, которую Гельмут Шельски в своей знаменитой одноименной работе определил как «скептическое поколение» (согласно Шельски, «помощники зенитчиков» составляли как раз ее ядро)[3]. В числе характерных черт этого поколения, пережившего фундаментальный опыт социальной неопределенности, — скептический отказ от любого рода идеологий, ориентация на функциональный прагматизм. В отличие от молодежных движений, возникших после Первой мировой войны и в эпоху Веймарской республики, представители «скептического поколения» не были настроены враждебно к требованиям общества модерна и индустриального общества. И хотя сам Люббе далеко не во всем согласен с теми характеристиками, который Шельски дал «скептическому поколению»[4], в его работах нетрудно обнаружить некоторые из них. Это, прежде всего, критическое отношение к любого рода «высоким идеологиям», к числу которых Люббе относит не только национал-социализм, но и разного рода «интернационал-социалистические» идеологии. Их все — несмотря на существенные различия — объединяет, по мнению Люббе, отказ от здравого смысла (common sense) и пренебрежение конвенциональной моралью, подмена ее особым — причем очень сильным и бескомпромиссным — политическим морализмом[5]. Одо Марквард

[3] *Schelsky H.* Die skeptische Generation. Eine Soziologie der deutschen Jugend. Düsseldorf; Köln, 1957.

[4] См., в частности, его ироничное замечание по этому поводу: *Люббе Г.* Карл Шмитт в восприятии либералов // Логос. 2012. № 5 (89). С. 145–146.

[5] Анализ и критика политического морализма, служащего самолегитимации тоталитарных идеологий, представлены, в частности, в работе: *Lübbe H.* Politischer Moralismus: Der Triumph der Gesinnung über die Urteilskraft. Berlin: Siedler, 1987. Основной тезис Люббе заключается в том, что тоталитарные режимы отнюдь не сводятся к «инструментальному разуму» (М. Хоркхаймер) или «банальности зла» как нейтральной карьерной исполнительности (Х. Арендт), но основаны на энергичной

(1928–2015) — ближайший философский единомышленник Люббе — разделяет данный тезис и по тем же причинам делает одним из центральных пунктов своей философской позиции апологию скептицизма.

ШКОЛА ИОАХИМА РИТТЕРА

Герман Люббе и Одо Марквард здесь объединены не случайно — несмотря на различие философских стилей и тематики своих работ, именно они являются одними из наиболее заметных последователей философии Иоахима Риттера (1904–1974), известного в международном контексте прежде всего как инициатор издания и первый редактор «Исторического словаря философии» — наиболее обширного и значимого современного немецкого словаря по философии, развивавшего историко-аналитический подход в русле истории понятий[6] — наряду с несколько более скромным по масштабу проектом «Словаря основных исторических понятий» Райнхарта Козеллека. В настоящее время как идеи Риттера, так и отдельные аспекты творчества так называемой школы Риттера становятся предметом основательных исторических исследований, раскрывающих масштаб их влияния на идейный и политический ландшафт послевоенной ФРГ[7]. Из последних подобных работ прежде всего необходимо назвать книгу Йенса Хаке «Философия буржуазности. Либерально-консервативное обоснование Федеративной Республики»[8], а также работы Марка Шведа «Раздвоение

моральной аргументации: «Морализирующие аргументы играют в тоталитарных системах несравненно большую роль, чем в либеральных» (*Lübbe H.* Op. cit. S. 7).

[6] «Historisches Wörterbuch der Philosophie» был выпущен в 13 томах в период 1971–2007 гг.

[7] Емкий анализ, в котором позиция Риттера и его последователей определена в рамках идейно-политических дискуссий относительно легитимации послевоенного политического порядка ФРГ, представлен в работе: *Hacke J.* Die Bundesrepublik als Idee. Zur Legitimationsbedürftigkeit politischer Ordnung. Hamburger Edition, 2009. Среди обзорных работ, посвященных различным аспектам школы Риттера, см. также: *Dierse U.* Joachim Ritter und seine Schüler // Hügli A., Lübcke P. (Hrsg.). Philosophie im 20. Jahrhundert. Bd. 1: Phänomenologie, Hermeneutik, Existenzphilosophie und kritische Theorie. Reinbek, 1992. S. 237–278; *Lohmann G.* Neokonservative Antworten auf moderne Sinnverlusterfahrungen. Über Odo Marquard, Hermann Lübbe und Robert Spaemann // Faber R. (Hrsg.). Konservatismus in Geschichte und Gegenwart. Würzburg, 1991. S. 183–201; *Roth F.* Philosophie für die junge Bundesrepublik. Manuskript zu einem Volkshochschul-Vortrag. München, 2005 <http://www.florian-roth.com/texte/pdfs/Ritter-Schule.pdf>.

[8] *Hacke J.* Philosophie der Bürgerlichkeit. Die leberalkonservative Begründung der Bundesrepublik. Göttingen, 2008. Для перевода понятия «Bürgerlichkeit» мы используем вариант «буржуазность» (в основном под влиянием работ Одо Марквардa, автора оборота «Philosophie der Bürgerlichkeit», посвятившего теме буржуазности множество своих блестящих афористических текстов), но при этом, разумеется, необходимо иметь в виду весь спектр возможных смыслов понятия «бюргер» — гражданин, мещанин, житель города. Что касается урбанистического аспекта «философии буржуазности» Риттера, то здесь необходимо указать на его емкое эссе «Большой город» (*Ritter J.* Die große Stadt (1960) // Ritter J. Metaphysik und Politik. Studien zu Aristoteles und Hegel / Erweiterte Neuausgabe mit einem Nachwort von O. Marquard. Suhrkamp, 2003. S. 341–354). Герман Люббе отграничил смысл этого понятия от настойчивых марксистских коннотаций с классом «буржуазии» следующим образом: «Буржуа мертв, бюргер жив» («Der Bourgeois ist tot, der Bürger lebt»), см.: Hermann Lübbe im Gespräch. München, 2010. S. 38.

и компенсация. Философская теория мира модерна Иоахима Риттера» и «Иоахим Риттер и школа Риттера: Введение»[9].

Иоахим Риттер организовал в Мюнстере, где с 1948 г. до своего выхода на пенсию в 1968 г. он занимал позицию ординарного профессора, постоянный семинар — Collegium Philosophicum. Расцвет Коллегиума приходится на 1955–1965 гг., однако семинар существовал с 1947 г. и фактически вплоть до кончины Риттера. В число его участников, если отметить только наиболее известных из них, входили: Эрнст-Вольфганг Бёкенфёрде, Бернард Вильмс, Калфрид Грюндер, Ульрих Дирзе, Ханс Йорг Зандкюлер, Юрген Зайферт, Мартин Криле, Герман Люббе, Одо Марквард, Райнхарт Мауэр, Вилли Ольмюллер, Людгер Онинг-Ханхоф, Гюнтер Рормозер, Эрнст Тугендхат, Роберт Шпеман, Райнер Шпехт, Рудольф Фирхаус.

Наименование «школа Риттера» по отношению к участникам Collegium Philosophicum можно, впрочем, употреблять лишь с известной долей историко-философской условности: как отмечает Юрген Зайферт, это понятие было введено post factum, тогда как фактическую суть этого явления точнее передает выражение «форум свободных мыслителей»[10]. «Иногда приходилось слышать, — отмечает Флориан Рот, — что этот круг никогда не представлял собой школы, объединенной единым учением, а само название “школа Риттера” он получил от своих противников. И в самом деле, Риттер не придавал никакого знания следованию или единству в том, что касалось философской или политической позиции. Однако с годами многие ученики Риттера все более настойчиво обращались к фундаментальным убеждениям своего учителя и, соответственно, стремились дать им новое, более глубокое обоснование»[11]. Одо Марквард следующим образом пояснял то обстоятельство, что школа Риттера образовалась не сразу, а, так сказать, задним числом. Для Риттера, подчеркивал он, опыт был необходимым условием философии: «Не имея опыта, человек не может иметь, в действительности, никакой философии, так как философия есть ответ на такой опыт. Но опыт требует времени. Поэтому ученики Риттера сблизились в своих содержательных тезисах не во время обучения, а спустя десятилетия — только после того, как они приобрели собственный опыт, который с тех пор сделал для них убедительными те философские ответы, которые предлагал Риттер. Консолидация школы Риттера — это долгосрочный процесс»[12].

Хотя Коллегиум не имел никакого выраженного доктринального единства, в нем все же присутствовал некоторый общий набор установок. По словам того же Зайферта, Риттер запрещал только две интеллектуальные фигуры — «разоблачение» и редукцию в форме «не что иное, как». Благодаря этому в Коллегиуме

[9] *Schweda M.* Entzweiung und Kompensation. Joachim Ritters philosophische Theorie der modernen Welt. Freiburg; München, 2013; *Schweda M.* Joachim Ritter und die Ritter-Schule zur Einführung. Hamburg: Junius, 2015.

[10] *Seifert J.* Joachim Ritters “Collegium Philosophicum”. Ein Forum offenen Denkens // Faber R., Holste C. (Hrsg.). Zur Soziologie moderner Intellektuellenassoziation. Kreise; Gruppen; Bünde. Würzburg, 2000. S. 189–199.

[11] *Roth F.* Op. cit. S. 7–8.

[12] *Marquard O.* Positivierte Entzweiung. Joachim Ritters Philosophie der bürgerlichen Welt // Ritter J. Metaphysik und Politik... S. 456.

обсуждались работы авторов, принадлежащих к самым разным интеллектуальным и политическим направлениям: Шпеман реферировал «Естественное право и историю» Лео Штрауса, Люббе делал доклад по книге Вильгельма Шаппа «Впутавшиеся в истории»[13] и критиковал «Теорию современной эпохи» Ханса Фрайера, Марквард, который в то время симпатизировал Франкфуртской школе, рассказывал об «Эросе и цивилизации» Герберта Маркузе. «При этом широкие связи Риттера с другими влиятельными интеллектуалами того времени, такими как Гельмут Шельски, Карл Шмитт, Ханс Фрайер и Арнольд Гелен, а также его толерантность, позволявшая ученикам мастера двигаться собственным путем, подчеркивали открытость кружка, что иногда приводило к напряжению внутри него»[14]. В итоге в интеллектуальной атмосфере Collegium Philosophicum сформировалась неоднородная — в том числе и в плане политических ориентаций — плеяда академических и общественных деятелей. Как показывает Марк Шведа, бывшие участники Collegium Philosophicum придерживались как правых (Гюнтер Рормозер, Бернард Вильмс), так и левых (Юрген Зайферт, Ханс Йорг Зандкюлер) убеждений. С этой точки зрения позицию Германа Люббе, Одо Маркварда, Эрнста-Вольфганга Бёкенфёрде и, с некоторыми оговорками, Мартина Криле и Роберта Шпемана можно охарактеризовать как «умеренную» или «центристскую». Исходной точкой как «правых» и «левых», так и «умеренных» авторов были базовые концепты, введенные Риттером, прежде всего его понятия «раздвоение» (Entzweiung) и «компенсация». При этом, в отличие от «правых» и «левых» мыслителей, критиковавших основные теоретические положения Риттера, названные «умеренные» авторы скорее принимали и развивали данные базовые концептуальные положения, — несмотря на существенное их переосмысление и уточнение[15]. С точки зрения исторического анализа рецепции стоит отметить — применительно как к Риттеру, так и к его последователям, — что мы наблюдаем здесь специфический для современной истории философии разрыв между реальной общественной значимостью определенного интеллектуального течения и ее медийной, а отчасти и специализированно-научной репрезентацией в виде

[13] Вильгельм Шапп формально считается первым учеником Гуссерля: в 1909 г. он защитил у него в Гёттингене диссертацию «Феноменология восприятия». В дальнейшем Шапп, однако, избрал юридическую карьеру. Указанная книга вышла в 1956 г. (*Shapp W*. In Geschichten verstrickt. Zum Sein von Ding und Mensch. Hamburg). Начиная со второго издания, эта работа Шаппа выходит с предисловием Германа Люббе. Философия «историй» (значимым здесь является акцент на множественном числе) представляет собой самостоятельный — весьма отличный от работ позднего Гуссерля — вариант исторической феноменологии, на который опирается в своих работах Герман Люббе. Для Люббе рассказывание историй представляет собой ключевой способ определения собственной идентичности, а также является конститутивным моментом для нашего переживания прошлого. (Наст. изд., с. 186 и далее, с. 348.)

[14] *Hacke J*. Philosophie der Bürgerlichkeit. S. 40–41. Некоторые из этих мыслителей выступали на Collegium Philosophicum, в частности, Карл Шмитт. Об обстоятельствах этого посещения, а также о либеральной рецепции Шмитта в кругу Иоахима Риттера см.: *Люббе Г*. Карл Шмитт в восприятии либералов. С. 143–157.

[15] Исключением здесь является Роберт Шпеман, критиковавший теорию компенсации, предложенную Риттером и позже развитую и уточненную в работах Германа Люббе и Одо Маркварда.

расхожего историко-философского канона. Указанные выше работы Й. Хаке, У. Дирзе, М. Шведа, равно как и прямое знакомство с биографией, сферами активности и научными проектами Риттера и его последователей показывают, что данное философское течение оказало глубокое влияние не только на философский дискурс послевоенной ФРГ, но на ее образовательную и культурную политику, правовую систему. Пожалуй, можно сказать, что ни одно западное философское течение в период после Второй мировой войны не имело столь значительного прямого влияния на реальный политический и институциональный процесс своей страны, как школа Иоахима Риттера в ФРГ, выступившая на сцену общественных дискуссий в 1960-х годах — вслед за послевоенным поколением управленцев-технократов. Достаточно упомянуть некоторые эпизоды истории этого институционального влияния. В период реформы высшей школы ФРГ в 1960-х годах множество участников Collegium Philosophicum получили профессорские позиции — в том числе благодаря влиянию и покровительству самого Риттера, непосредственно вовлеченного в процесс реформ (наряду с Гельмутом Шельски, также преподававшем в Мюнстере с 1960 г.). Особая роль Риттера в этом процессе реформы высшего образования в послевоенной ФРГ связана с его докладом 1961 г. «Задачи наук о духе в обществе модерна», который сыграл важную роль в процессе обоснования необходимости широкого присутствия гуманитарно-исторических наук в реформируемой университетской системе[16]. Герман Люббе и Рудольф Фирхаус входили в учредительные комитеты и сенаты новых университетов в Бохуме и Билефельде. С 1966 г. Люббе занимал пост заместителя министра культуры по вопросам высшей школы и церкви, а с 1969 по 1970 г. — пост заместителя премьер-министра Земли Северный Рейн-Вестфалия[17]. В 1975–1978 гг. Люббе становится президентом Немецкого философского общества, Одо Марквард занимает эту должность в период с 1985 по 1987 г. Наибольшего политического влияния эта группа достигла в 1980-х годах. Несмотря на то что Люббе долгое время пребывал в рядах Социально-демократической партии Германии, в это время он действует в качестве сподвижника лидеров Христианско-демократического союза, выполняя функции советника правительства Лотара Шпета в Земле Баден-Вюртемберг, заметное влияние его идей прослеживается также в речах Гельмута Коля[18].

[16] Доклад был переработан в статью: *Ritter J.* Die Aufgabe der Geisteswissenschaften in der modernen Gesellschaft (1963) // Ritter J. Metaphysik und Politik... S. 377–406. Об истории развития этой аргументации Риттера в работах Люббе и Маркварда, а также ответ Люббе на основные возражения против нее см. подраздел 6.2 наст. изд. (Экскурс II. Спор о компенсаторной функции наук о духе).

[17] Снял с себя полномочия из-за несогласия с левым характером программы образовательной политики своих однопартийцев из СДПГ (Der Spiegel. Hermann Lübbe. 28.08.1978 <http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-40606731.html>).

[18] В этот период в работах некоторых философов, представляющих иные линии философского и политического спектра, дело доходит едва ли не до демонизации влияния Люббе на тогдашних лидеров ХДС. Так, представитель дискурсивной теории и дискурсивной этики Дитрих Бёлер усматривал в Германии 1980-х годов расцвет политического децизионизма: «Люббе его пропагандирует, а Коль, Драггер и Циммерман его реализуют в смягченной для вида форме» (*Böhler D.* Die deutsche Zerstörung des politisch-ethischen Universalismus. Über die Gefahr des — heute (post-)

Другим важным полем деятельности выходцев из круга Риттера было право: Эрнст-Вольфганг Бёкенфёрде занимал пост судьи Конституционного Федерального суда Германии (1983–1996), Мартин Криле — судьи Конституционного суда Земли Северный Рейн-Вестфалия (1976–1988), Юрген Зайферт время от времени выступал советником Герхарда Шрёдера в правительстве Нижней Саксонии[19]. Резюмируя эту тему применительно к Герману Люббе, процитируем Ханнса-Грегора Ниссинга: «Люббе принадлежит к тем мыслителям, доклады и сочинения которых существенно повлияли не только на академическую философию, но и на политическую и общественную жизнь в ФРГ»[20].

РЕЦЕПЦИЯ В РОССИИ

Указанное выше несоответствие фактической общественной значимости и медийной известности, отражающейся в том числе в системе интеллектуальных «звезд», обладающих международным признанием, обнаруживается особенно наглядно, если обратить внимание на диспропорцию представленных на русском языке философов Франкфуртской школы и школы Риттера. Франкфуртцы представлены здесь во всем своем многообразии и полноте (существуют переводы и работы о Теодоре Адорно, Вальтере Беньямине, Герберте Маркузе, Эрихе Фромме, Юргене Хабермасе, Максе Хоркхаймере — если говорить только об основных представителях), тогда как Иоахим Риттер вообще не представлен на русском языке, а его основные последователи — весьма фрагментарно[21].

В постсоветский период в России реализовалась также широкомасштабная рецепция радикального «правого» крыла немецкой философско-политической мысли — Мартина Хайдеггера, Карла Шмитта, Эрнста Юнгера и др. Примечательно, что единственный автор, связанный со школой Риттера, в том числе в силу своей исторической причастности к Collegium Philosophicum, который представлен на русском языке в виде не только разрозненных статей, но и монографий, — это решительно культур-критически настроенный консерватор Гюнтер Рормозер[22]. Причины и мотивы столь избирательной рецепции заслуживают отдельного рассмотрения. Единственное, что можно сказать вполне определенно: постсоветская рецепция немецкой философско-политической

modernen — Relativismus und Dezisionismus // Zerstörung des moralischen Selbstbewußtseins: Chance oder Gefährdung? — Praktische Philosophie in Deutschland nach dem Nationalsozialismus / Herausgegeben vom Forum für Philosophie Bad Homburg. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988. S. 170 (цит. по: *Hacke J.* Op. cit. S. 178)).

[19] *Hacke J.* Op. cit. S. 44.

[20] *Nissing H.G.* Hermann Lübbe — Pragmatische Vernunft nach der Aufklärung. Zur Einleitung // Nissing H.G. (Hrsg.). Pragmatische Vernunft nach der Aufklärung. Stuttgart: Finker & Bumiller, 2001. S. 7.

[21] Первый перевод Люббе на русский язык вышел в сборнике по философии техники и остался незамеченным в потоке литературы, хлынувшей на российский рынок, начиная с эпохи перестройки (*Люббе Х.* Технические и социальные изменения как проблема ориентации // Философия техники в ФРГ. М.: Прогресс, 1989. С. 162–171).

[22] *Рормозер Г.* Кризис либерализма. М.: Изд-во Ин-та философии РАН, 1996. Ср. также: *Рормозер Г., Френкин А.* Новый консерватизм. Вызов для России. М.: Изд-во Ин-та философии РАН, 1996.

мысли причудливым образом выбрала крайности, но обошла здравомыслящую философию либерально-консервативной «середины», сформулированную Риттером и его последователями[23]. В настоящей работе Германа Люббе читатель обнаружит, что для ее автора как правый, так и левый радикализм в области культур-критики (а проблематика данной работы ограничивается данной сферой) в равной степени являются постоянными оппонентами, а именно — в силу своего отрицания и неприятия цивилизации и культуры модерна. Такого рода отрицание объединяет — несмотря на различие перспектив и оснований — основоположников художественного авангарда и Фридриха Ницше, Хайдеггера и Адорно, современную левую и церковную культур-критику. В политической плоскости эту линию продолжает, например, соседство Карла Шмитта и Юргена Хабермаса, представляющих собой, согласно Люббе, «лишь взаимодополнительные формы политического романтизма»[24].

Это не случайно, поскольку Герман Люббе принадлежит к упомянутой традиции практической философии «середины», избегающей радикальных крайностей и восходящей к Аристотелю. Традиция аристотелизма в послевоенной Германии получила новый импульс в интерпретации[25], принадлежавшей Иоахиму Риттеру, образуя — наряду с его эпохальной для послевоенного либерального консерватизма интерпретацией Гегеля, ядро практической философии как самого Риттера, так и его «умеренных» последователей: «Герменевтика исторического мира Риттера связывает аристотелевское предположение о разумности существующего с гегелевским доверием к разуму, уравновешивающему опасности, которые несет с собой свобода»[26], — так охарактеризовал это сочетание Хеннинг Оттман.

ТЕОРИЯ МОДЕРНА: РАЗДВОЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ

Комментируя критические замечания Герберта Шнедельбаха в адрес компенсаторной теории исторических наук о культуре в представленной здесь книге, Герман Люббе отмечает, что его полемическая задача состояла, видимо, в том, чтобы сохранить «противопоставление консервативной, так сказать, тра-

[23] В порядке примера такой утвердившейся оптики: *Михайловский А.* Германия // Куренной В. (ред.). История и теория интеллигенции и интеллектуалов. М.: Наследие Евразии, 2009. С. 116–158. Представленный в этой работе обзорный анализ рассматривает послевоенную интеллектуально-политическую дискуссию как располагающуюся между полюсом левых интеллектуалов и загнанных в различные формы «эзотерической коммуникации» (Указ. соч. С. 151) «старых» правых и консерваторов (К. Шмитт, М. Хайдеггер и др.).

[24] *Люббе Г.* Карл Шмитт в восприятии либералов. С. 152.

[25] К числу основных работ Риттера — фактически небольших статей — об Аристотеле относятся следующие: «Учение о происхождении и смысле теории у Аристотеля» (1953); «Аристотель и досократики» (1954); «Гражданская жизнь. О теории счастья Аристотеля» (1965); «"Политика" и "этика" в практической философии Аристотеля» (1963); «"Естественное право" у Аристотеля» (1963). Все они представлены в сборнике: *Ritter J.* Studien zu Aristoteles und Hegel. S. 9–182.

[26] *Ottmann H.* Joachim Ritter // Nida-Rümelin J. (Hrsg.). Philosophie der Gegenwart in Einzeldarstellungen. Von Adorno bis von Wright. Stuttgart, 1991. S. 507.

диционной теории, с одной стороны, и критической — с другой». «В противоположность этому, — замечает Люббе, — компенсаторная теория исторических наук о культуре как раз выявляет реликтовый характер этого средства интерпретации»[27]. Дискуссия о компенсаторной теории, рассмотренная в настоящей работе Люббе в аспекте роли наук о духе, в действительности затрагивает фундаментальный момент, который, несмотря на различные интерпретации как понятия «компенсация»[28], так и компенсаторной теории в целом, во многих отношениях объединяет позиции Риттера, Маркварда и самого Люббе. Дело в том, что понятие «компенсация» затрагивает важнейший момент исторической и теоретической интерпретации общества модерна, первоначально изложенной Риттером в его работе «Гегель и французская революция»[29]. Основная заслуга этой работы — формулировка комплексной теории общества модерна, обладающей весьма широким эвристическим и практическим потенциалом[30]. Объяснительные возможности этой теории позволяют не только прояснить основные структурные особенности общества модерна, но и раскрыть причины и механизмы формирования основного спектра теорий и позиций, направленных против общества и культуры модерна, которые могут располагаться как в политической плоскости «правые — левые», так и в плоскости взаимоотношений «личность — общество», распространяясь и на более специальные области, в частности, в контексте упомянутой дискуссии между Шнедельбахом и Люббе, на дихотомию «традиционалистский консерватизм — критика». Выступая как противоположные, разные полюса этой критики единодушны, однако, в том, что равным образом отрицают общество модерна, стремясь ликвидировать его *раздвоенный* характер, что, по мнению Люббе, в случае успешной и последовательной реализации этого отрицания приводит не к его предполагаемому улучшению, а к ликвидации его принципиальных оснований. В политическом плане эта интерпретация позволила Риттеру и его ученикам сформулировать идейно-политическую позицию, защищавшую либерально-демократический строй ФРГ, основанный на действенности права и разделении властей, от попыток поставить ее под сомнение и лишить легитимности как со стороны правых, так и — что было более актуально в рамках послевоенной истории республики — со стороны левых критиков (прежде всего — представителей Франкфуртской школы). Одо Марквард выразил суть позиции, первоначально сформулированной Риттером, следующим образом: «Противоположностью правому тоталитаризму является не левый тоталита-

[27] Наст. изд., с. 280.

[28] Понятие «компенсация» в рамках данной традиции не сводится к ее психоаналитической трактовке. О генезисе понятия см., например: *Marquard O.* Kompensation // Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 4. S. 912–918.

[29] *Ritter J.* Hegel und die französische Revolution (1956) // Ritter J. Metaphysik und Politik... S. 183–233.

[30] С точки зрения ее эпистемологического статуса теорию модерна школы Риттера уместно назвать исторической герменевтикой современности, она не является набором произвольно утверждаемых гипотетических тезисов, но основана на аналитической экспликации значимых структурных моментов модерновой культуры и общества.

ризм, а либеральная демократия. Позицией, противостоящей отрицанию буржуазности, является не другое отрицание буржуазности, а отрицание этого отрицания буржуазности, а именно — представленная философией Риттера — философия мужества к буржуазности»[31]. Но потенциал теории модерна школы Риттера далеко не ограничивается политической проблематикой. С известной долей условности, к которой побуждает схематизм, игнорирующий множество важнейших нюансов, можно сказать, что она также в целом структурирует ту модель объяснения и понимания современного общества, которая позволяет Люббе уверенно обращаться к анализу множества самых различных аспектов культуры и цивилизации общества модерна, изложенных в работе «В ногу со временем». Кратко поясним специфическое понимание особенностей общества модерна в его первоначальном виде, сформулированном Риттером.

Амбивалентная структура общества модерна, согласно Риттеру, была выявлена Гегелем, определившим ее с помощью понятий «раздвоение» (Entzweiung) и «различие» («Differenz»)[32], которые, в том числе, маркируют принципиальную «дисконтинуальность» общества модерна по отношению к предшествующим историческим периодам. Структура «раздвоения» имеет множество аспектов, однако они сходятся в том, что во всех случаях речь идет о специфическом разрыве между историческим «происхождением» (Herkunft) общества модерна и его настоящим и будущим (Zukunft). Речь идет, в первую очередь, о раздвоении в области права как сферы реализации всеобщей свободы индивида: универсальность права, осуществленного в рамках модернового государства и его институтов, действует здесь независимо от исторического «происхождения» индивида: «*Значение человека в том, что он человек*, а не в том, что он еврей, католик, протестант, немец, итальянец и т.д.»[33]. Осуществление универсальной свободы в праве снимает, таким образом, все социально-сословные, национальные, религиозные и др. специфические исторически обусловленные особенности происхождения индивида. Второй сферой «раздвоения» является гражданское общество, где индивид теперь выступает как независимый от истории своего происхождения носитель экономических интересов. Гражданское общество Гегель, основываясь на работах современных ему британских экономистов, понимает как сферу, где индивиды свободно руководствуются лишь собственными потребностями, удовлетворить которые они могут посредством участия в экономической системе, основанной на разделении труда[34]. При этом не только индивид получает свободу в отношении своих потребностей, но и семья, утрачивающая свое значение как всеобъемлющая экономическая единица, становится общностью, «в которой человек может жить сам по себе в своей

[31] *Marquard O.* Positivierte Entzweiung. S. 456.

[32] Термины, регулярно встречающиеся в работах Гегеля. Поскольку, однако, ключевой для интерпретации Риттера является «Философия права», то наиболее часто цитируемые Риттером контексты отсылают именно к ней, а именно: к § 184, § 182 (Прибавление), § 33. Синонимом понятия «раздвоение» в определенных случаях можно считать также понятие «отчуждение» в понимании Маркса, ср.: *Roth F.* Op. cit. S. 5.

[33] *Гегель Г.В.Ф.* Философия права. М.: Мысль, 1990. С. 246 (§ 209).

[34] Там же. § 188.

субъективности, связанный со своими близкими личным отношением любви»[35]. Наконец, и здесь берет начало длительная дискуссия, к которой — подводя ей итог — «метакритически» обращается в настоящей работе Люббе, речь идет о раздвоении, связанном с современной наукой, техникой и научно-техническим прогрессом, в основе которых лежит идея о практическом овладении природой, а тем самым и об освобождении человека от господства довлеющих над ним природных условий. Теология и философия, понимаемая как метафизика, утрачивают здесь всякое значение, а наука становится «позитивной наукой» в том смысле, какой придал ей Огюст Конт, значение и функции которой никак не связаны с ее историческим «происхождением». Однако, формулирует свой главный тезис Риттер, в обществе и культуре модерна существует и обратная тенденция, уравновешивающая эту неисторичность. Для ее определения Риттер как раз и вводит второе ключевое понятие своей теории общества модерна — понятие компенсации: «На этой конститутивной и неустранимой для общества модерна абстрактности и неисторичности основывается принадлежность к нему наук о духе. *Они развиваются на его почве, так как обществу необходимым образом требуется орган, который компенсирует его неисторичность, сохраняя открытым и актуальным для него тот исторический и духовный мир, который это общество должно оставлять вне себя*»[36]. Здесь Риттер обращает внимание прежде всего на гуманитарные науки («науки о духе») и их необходимую функциональную роль в культуре модерна, обосновывая тем самым необходимость их присутствия в структуре современного университета[37]. При этом в статье дан также ряд точных замечаний, открывающих более широкий горизонт понимания динамики современной культуры, а именно той ее характеристики, которую Люббе в настоящей работе определяет как «историзм» и «историческое сознание», уникальным образом характеризующее культуру модерна. Согласно Риттеру, «*историческое чувство*», которым наделена культура модерна, «*фундаментально и сущностно*» отличает его от того, «*каким образом народы в континуальности своей исторической жизни действуют в отношении своего прошлого*». Этот тезис он поясняет весьма выразительно: «Когда боги умерли и вера, вдохновляющая их почитание, исчезла, тогда храмы, которые им принадлежали, утратили свою достопримечательную красоту и превратились просто в камни и стены. Другой исторический мир мог использовать их лишь как вещь, в которой не обитает больше никакой дух»[38]. Последний тезис можно проиллюстрировать на актуальном материале текущих событий, связан-

[35] *Ritter J.* Subjektivität und industrielle Gesellschft. Zu Hegels Theorie der Subjektivität (1961) // Ritter J. Metaphysik und Politik... S. 374.

[36] *Ritter J.* Die Aufgabe der Geisteswissenschaften in der modernen Gesellschaft (1963) // Ibid. S. 399.

[37] Тем самым Риттер смог легитимировать положение историко-культурного и историко-философского знания в структуре университета, предложив для него перспективу, отличную от весьма пессимистического вывода Гельмута Шельски о превращении современного университета исключительно в «современное предприятие», утратившее образовательно-гуманитарную функцию (см. *Шельски Г.* Уединение и свобода. К социальной идее немецкого университета // Логос. 2013. № 1 (91). С. 65–86).

[38] *Ritter J.* Die Aufgabe der Geisteswissenschaften... S. 395–396.

ных, например, с действиями религиозных фундаменталистов по отношению к историческим памятникам в Афганистане, Ираке и Сирии, которые весьма наглядно показывают, что означает ликвидация раздвоенности культуры модерна и возвращение ей традиционной целостности, лишенной историзма как необходимой сущностной черты этой культуры. Хотя в последнем случае речь идет о демонстративном отрицании цивилизации модерна (которая давно уже не является «европейской», но присутствует повсюду, где обнаруживается описанная выше структура), но аналогичные следствия имеют — что показывает драматическая история как Германии, так и России XX в. — и другие попытки упразднить ее амбивалентную сложность, выраженную в структуре раздвоения, и привести ее к целостному, гомогенному и, как поначалу кажется, свободному или справедливому порядку.

Теория модерна, сформулированная в школе Риттера, первоначально широко использовалась его основными последователями в рамках политической дискуссии — для осмысления и легитимации политического строя ФРГ, в частности, как замечает Люббе в своем сборнике интервью, против «попыток новых левых поставить под сомнение политическую и моральную легитимность западногерманского государства, основываясь на реконструированной марксистской традиции». «Все это, — продолжает он, — принадлежит, впрочем, далекому прошлому. Вместе с крахом реально существующего социализма и теми последствиями, которые оно имело для мировой политики, угасла, сократившись до маргинальных остатков, и старая немецкая склонность к тому, чтобы не пребывать в мире с самим собой. Нормальное состояние, которое сейчас установилось в Германии, отмечено в основном тем грузом проблем, которые mutatis mutandis вообще связаны с эволюцией современной цивилизации»[39]. Без преувеличения можно сказать, что теория модерна школы Риттера вышла из длительных идеологически-политических схваток как философия победителей, а политическая проблематика в работах Люббе последнего периода сместилась к широкому спектру проблем философии культуры, проблемам современной глобальной цивилизации (в частности, возрождению роли религии), различным аспектам европейской политики[40]. Стоит также обратить внимание, что исследования и размышления, изложенные в настоящей книге, пронизаны и фундированы чрезвычайно обширной историей дискуссий, которые Люббе вел на протяжении всей своей жизни. В самой работе они могут быть не артикулированы, но внимательный читатель, безусловно, распознает серьезные скрытые полемические мотивы, которые стоят за отдельными тезисами работы. В частности, следы полемического отношения к коммуникативной

[39] Hermann Lübbe im Gespräch. S. 9. Несмотря на то что полемика с «новыми левыми» утратила свою первоочередную актуальность, отметим, тем не менее, что в силу «центристского» характера аргументы Люббе и Марквардa вполне могли бы сыграть роль в критике так называемых «новых правых», на сегодняшний день представляющих широко обсуждаемую проблему в Германии.

[40] На русском языке см.: *Люббе Г.* Право оставаться иным. К философии регионализма // Политическая философия в Германии. М.: Современные тетради, 2005. С. 53–69; *Люббе Г.* Что такое народ? Новая актуальность права на самоопределение // Политическая философия в Германии. С. 102–109.

теории (прежде всего — Юргена Хабермаса, но также и Карла-Отто Апеля[41]) можно найти в анализе научного коммуникативного сообщества[42], а критику «философии публичности» Хабермаса — в ремарках относительно выведения в сферу публичности вопросов, которые должны решаться экспертами и специалистами[43]. Важный и, в известной мере, преемственный для консервативной и скептически-технократической немецкой традиции[44], сквозной момент настоящей работы Люббе — решительное, а иногда — снисходительно-ироническое неприятие претензий ангажированных интеллектуалов и «критических критиков» на привилегированную точку зрения[45]. Данную работу также отличают такие характерные для Германа Люббе установки, как философия «здравого смысла» (common sense), противопоставленная, среди прочего, любым формам «идеализма», понятого как слепое следование идеалам, пренебрегающим традиционной моралью и обыденным рассудком; аффирмативное отношение к действительности модерна; «апология» буржуазных жизненных миров; внимание и интерес к региональной и локальной культурной жизни немецкого общества — что само по себе маркирует фундаментальную трансформацию проблематики в контексте немецкой философской традиции.

СТРУКТУРНАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

Работа «В ногу со временем» наиболее полным, хотя и не исчерпывающим образом репрезентирует один из аспектов интеллектуального творчества Германа Люббе, а именно то его направление, которое можно назвать философией культуры цивилизации модерна. Выражаясь точнее и в соответствии с немецкой традицией, ее, впрочем, следовало бы назвать культур-философией — по той же причине, по которой сегодня ряд современных направлений анализа культуры именуют себя культур-социологией[46]. Причина заключается в том, что анализ культуры не осуществляется здесь, исходя из некоторой предза-

[41] См., в частности: *Апель К.-О.* Коммуникативное сообщество как трансцендентальная предпосылка социальных наук // Апель К.-О. Трансформация философии. М.: Логос, 2001. С. 193–236.

[42] Наст. изд., с. 231 и далее.

[43] Наст. изд., с. 401 и далее. О критической позиции Люббе, Маркварда и Шпемана по отношению к коммуникативной теории дискурса см. *Hacke J.* Philosophie der Bürgerlichkeit. S. 194–204.

[44] Ср., например: *Филиппов А.* Арнольд Гелен и Гельмут Шельски // Куренной В. (ред.). История и теория интеллигенции и интеллектуалов. М.: Наследие Евразии, 2009. С. 274–313.

[45] Ср.: «Верно, что интеллектуальные школы (Denkschulen) сегодня быстро устаревают. Тот, кому не удается выбраться из реликтовой позиции, на которую он обречен как интеллектуал, уже больше не понимает мир, так что ему, для того чтобы сделать современность отвечающей его свежей критико-теоретической ориентации, не остается ничего другого, как в каждом не предусмотренном в его собственной концепции новшестве предполагать ренессанс старого зла». (Наст. изд., с. 285.)

[46] Эта понятийная трансформация достигла теперь и англоязычного мира и была популяризована, в частности, Джеффри Александером. Ср.: *Александер Д.* Смыслы социальной жизни: Культурсоциология. М.: Праксис, 2013.

данной философской системы, а исходными являются смысловые структуры современной культуры, реализующиеся в различных практиках — как повседневных, так и специализированных.

Теория модерна Риттера, что показывает в своей развернутой историко-герменевтической работе Марк Шведа, была весьма тесно связана с метафизической подоплекой интерпретаций Риттера, разворачивающейся в пространстве западной мысли, начиная с Аристотеля. У Люббе этот метафизический фон фактически полностью исчезает[47], уступая место развернутой структурно-аналитической дескрипции культуры модерна, воздерживающейся не только от обширных обобщений в духе философии истории, но и от оценочного отношения к динамическим тенденциям культуры модерна. Применительно к последнему аспекту Люббе поясняет свою позицию следующим образом: «Описываются функциональные взаимосвязи, тогда как причины, которые, вообще говоря, хотелось бы иметь, для того чтобы морально и эмоционально сочувствовать или не сочувствовать модерновой цивилизации, не являются темой данной книги»[48].

[47] «Место философско-исторического истолкования модернового раздвоения, разворачивающегося на фоне метафизической традиции западноевропейской философии, — замечает М. Шведа в отношении Люббе, — у него в итоге занимает дескриптивная культур-философия современной цивилизации, сущностно определяемой ускорением изменений. Перенос теоремы компенсации Риттера из одного теоретического контекста в другой имеет глубокие последствия для ее философского содержания. Для Риттера формирование исторического чувства было связано, преимущественно, с теоретической актуализацией исторических взаимосвязей реальности, которым больше не уделяется внимания в модерновом "неисторическом" обществе. Для Люббе, напротив, вся историческая культура модерна служит, в первую очередь, "компенсации утраты привычности, обусловленной темпом изменений", настоятельная потребность в которой возникает вследствие увеличившейся динамики развития цивилизации. Она нацелена, таким образом, в первую очередь не на объективное установление исторических фактов, но в ходе социальной трансформации берет на себя функцию "стабилизации нашего сознания посредством переживания познания известного"» (*Schweda M.* Entzweiung und Kompensation... S. 398).

[48] Наст. изд. С. 12. Подобное «воздержание от оценок» (Макс Вебер) само по себе можно понимать как следствие консервативной философской позиции, которая «оставляет все так, как оно есть» (Людвиг Витгенштейн, «Философские исследования», § 124). Отношение Люббе к цивилизации модерна равно дистанцировано как от наивных теорий «модернизации», оптимистически понимающих модерн как цивилизацию прогрессирующего развития в направлении лучшего будущего, так, например, и от пессимизма Арнольда Гелена (с антропологией и теорией институтов которого представителей школы Риттера связывает множество нитей), который усматривал в культуре модерна, прежде всего, факторы, способствующие разрушению антропологически необходимых институтов (см.: *Рутквич А.М.* Теория институтов Арнольда Гелена // История философии. М., 2000. № 5. С. 35–71). Повторяющаяся метафора, заимствованная из современного искусства, которую Люббе использует для пояснения ускоряющейся цивилизации модерна, имеет, тем не менее, ярко выраженный драматический характер: это скульптура «экспоненциальной лестницы», «начало которой уютно и привлекательно, затем высота ступеней резко возрастает в ущерб их ширине, и тот, кто продолжал бы дальнейшее движение по ней, быстро достиг бы такой точки, после которой следует падение вниз». (Наст. изд., с. 30, с. 378.)

Методология анализа, используемая в философии культуры Люббе, не получает в книге «В ногу со временем» развернутого обоснования, предполагая, скорее, верификацию силами способности суждения ее читателя. Сам он мимоходом характеризует ее как «феноменологию эволюционной динамики нашей современной культуры»[49]. «Вклад Люббе и Маркварда в культур-философию прогресса является, — поясняет Йенс Хаке, — дескриптивно-феноменологическим: они обнаруживают феномены компенсации в нашей современности и историческом прошлом, чтобы — позитивно — утвердить их необходимость или — критически — снять маску с тех механизмов, которые "компенсируют реальность" в идейно-политической сфере»[50]. Момент, который здесь подмечен, на наш взгляд, совершенно верно, состоит в том, что философию культуры Германа Люббе можно определить как серьезное обновление феноменологической философии, дистанцирующейся от методологии имманентного анализа сознания в духе Эдмунда Гуссерля и, с опорой на некоторые моменты реалистической феноменологии (прежде всего — Вильгельма Шаппа), обращающейся к сущностному анализу и аналитической экспликации смысловых структур значительных сегментов как нашей повседневности, так и некоторых специфических — научных, музейных и т.д. — практик историзированной культуры модерна. Данная адаптация у Люббе включает несколько архитектонических моментов. Прежде всего — отказ от области «чистого сознания» как исключительного медиума феноменологического анализа. Для Люббе таковым медиумом становится сфера повседневных жизненных миров и некоторых специальных практик (архивное дело, библиотеки, обращение с научной информацией), анализ которых хотя и не дает беспредпосылочного априорного знания, однако имеет другие преимущества, связанные с опорой на объективные и бесспорные элементы жизненного мира (вроде роста численности музеев, памятников архитектуры, садовых товариществ или распространения органайзеров и календарей) и богатую сферу исторического прошлого. Феноменологическая методология «варьирования в фантазии» замещается здесь вниманием к историческим и современным деталям жизненного мира, способным обогатить анализ конкретными моментами, недоступными для рефлексивной «философии письменного стола».

На этой методологической основе изменяется, усложняется и обогащается структура концептуальных инструментов анализа, которые использует Люббе применительно к различным сферам современной культуры — искусству авангарда, практике памятников сохранения культуры, архивному делу, проблемам, связанным с возросшей динамикой роста научной информации, различным областям нашей повседневности и т.д. В статье «Опыты времени. Семь понятий для описания цивилизационной динамики модерна»[51], опубликованной после выхода первого издания книги «В ногу со временем», Люббе резюмировал основные дескриптивно-аналитические характеристики современного

[49] Наст. изд., с. 263.

[50] *Hacke J.* Philosophie der Bürgerlichkeit. S. 73.

[51] *Lübbe H.* Zeit-Erfahrungen. Sieben Begriffe zur Beschreibung moderner Zivilisationsdynamik. Akademie der Wissenschaften und der Literatur zu Mainz. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Jahrgang 1996. Nr. 5. Stuttgart, 1996.

общества перечнем из семи понятий (понимаемых как схемы «когнитивного различения и соединения»). Приведем их краткую характеристику.

- *Прецепция:* предвосхищающее представление современников о том, что будет интересовать будущие поколения в их собственной истории, определяющее соответствующие практики этого предвосхищения, например, в архивном деле.
- *Сокращение настоящего:* сжимание периода постоянства жизненных условий.
- *Экспансия будущего:* комплементарно к сокращению настоящего будущее в хронологическом отношении наступает все быстрее, но является все менее предсказуемым. Вследствие этого, в частности, в обществе модерна приобретают столь важное значение такие вторичные добродетели, как пунктуальность и умение обращаться со временем.
- *Рост множества реликтов:* возрастание числа тех элементов культурных, социальных или природных систем, которые в силу эволюционных изменений потеряли свои первоначальные функции. Культурно значимой формой обращения с реликтами цивилизации является их музеефикация, что выражается в росте числа музеев, расширении практик охраны памятников и т.д.
- *Эволюционная илламинарность:* понятие, полемически направленное против представления об историческом процессе как однонаправленном движении вперед, не учитывающего, что вместе с динамикой цивилизации модерна увеличивается и ее разнонаправленность. Именно поэтому «каждая динамическая цивилизация является в то же время консервативной цивилизацией».
- *Сетевая концентрация* (или «уплотнение сетей» — «Netzverdichtung»): увеличивающаяся социальная и экономическая взаимозависимость отдельных индивидов, институтов и регионов, начиная от транспортных сетей и заканчивая сетями коммуникации. В культурном отношении концентрация сетей ведет к культурной экстерриториальной гомогенизации в плане доступа к товарам и информации. Компенсаторно к этому возникает стремление к консервации и актуализации специфических особенностей локальных элементов.
- *Эмпирическая апокалиптика:* современные формы ожидания конца света, основанные на эмпирических данных (ожидаемые последствия ядерной войны, климатических изменений и т.д.). Эти научно-фундируемые формы ожидания не являются, тем не менее, прогнозами: в динамически развивающейся цивилизации спрогнозировать будущее все труднее, вследствие этого эмпирическая апокалиптика остается сомнительным предприятием.

Содержание некоторых из перечисленных понятий подробно и исчерпывающим образом раскрыто в книге «В ногу со временем», тогда как другие едва или почти не затронуты на сколько-нибудь значительном материале. Впрочем, модели структурного анализа, используемые Германом Люббе, достаточно консистентны для того, чтобы их можно было транспонировать на области культуры, которые почти не затронуты в настоящей работе или же — в точном соответствии с тезисом Люббе об ускорении культурной динамики и «сокращении настоящего» — успели сформироваться после ее появления. Так, рассмотренные Люббе на примере традиционных архивов парадоксальные проблемы, с которыми сталкивалась культура сохранения памяти о настоящем

с целью передачи ее будущим поколениям, не исчезают, как может показаться на первый взгляд, вместе со снятием ограничений на физический объем сохраняемой оцифрованной информации, но, трансформируясь, воспроизводятся как структурные сложности поиска и ориентации в стремительно растущем объеме информации, устаревания средств доступа к ней и т.д., а всякий, кто пережил поломку жесткого диска своего компьютера, с которого не была снята заблаговременная копия, поймет, какие существенные риски имеет новая цифровая эпоха с точки зрения личного или семейного архива.

О НАСТОЯЩЕМ ИЗДАНИИ

Недостаточная известность работ Германа Люббе за пределами немецкого контекста не в последнюю очередь связана с тем, что он является чрезвычайно сложным автором, язык которого весьма далек от обычного понятийного строя философских и гуманитарно-теоретических работ. Его отличает, во-первых, специфическая усложненность и тяжеловесность синтаксиса, выстроенного как ироничная игра, где энергичность формулировок соседствует с тавтологичностью философского дискурса, с одной стороны, и тяжеловесностью немецкого канцелярита — с другой. Во-вторых, его работы далеки от понятийной лексики философского трактата в силу дотошного погружения в детали различных жизненных миров, всевозможных повседневных и специализированных (например, инженерных) практик. Переориентация философии на локальные детали, подробности жизненных миров и те сферы деятельности, которые давно являются уделом профессионалов (будь то архивы или библиотеки), проявляется здесь непосредственно на уровне языка и создает особые сложности для перевода в силу, в том числе, их неполной межкультурной соизмеримости. В-третьих, трансформация философской проблематики заставляет Люббе вводить целый спектр новообразованных аналитических понятий, далеких от школьного философского языка — достаточно обратиться к предметно-тематическому указателю этой книги, чтобы оценить эту инновативность, например, в части понятий, связанных со временем. Наконец, работы Люббе насыщены — не всегда артикулированно — терминологией, заимствованной из самых разных философских традиций — феноменологии, аналитической философии языка и др., что предъявляет к переводу особые требования с точки зрения компетентного владения всем спектром современных философских традиций. Можно, пожалуй, сказать, что работы Люббе сами по себе выражают еще один аспект «раздвоения» современной культуры, где, с одной стороны, формируется глобальная, делокализированная гуманитарная культура, представленная в международных реферируемых журналах и в интернациональной кампусной гуманитарной науке, которая, с другой стороны, дополняется сосредоточенным проникновением в прогрессирующие сложности и детали локальной и национальной культуры. И если первая отличается глобальной известностью и узнаваемостью, то вторая — непосредственным влиянием и участием в локальных социокультурных процессах.

Сложности перевода начинаются уже с названия настоящей работы. Для перевода используемого в нем выражения «Im Zug der Zeit» Николай Плот-

ников[52] предложил в свое время выразительный вариант «В ногу со временем». Однако этот перевод мы приняли не без колебаний, обратившись за консультациями к самому Герману Люббе. Все же в русском языке выражение «в ногу со временем» обладает несомненным авангардистским оттенком: «шагать в ногу со временем» — значит, во многом, находиться в строе тех, кто марширует вперед. Однако то состояние актуальности, на которое указывает выражение «Im Zug der Zeit», у Люббе основано на метафоре менее однозначной, чем строевое движение в одном направлении. Это образ «илламинарного» течения: «В отличие от реальных потоков, которые дарят нам метафору о потоке истории, с расстоянием от источника скорость течения не падает, а возрастает, и вместе с этим снижается ламинарность, т.е. равнонаправленность течения. Скорости поступательного движения дифференцируются. Возникают водовороты, где нет движения вперед, а только вращение на месте, в омутах вообще все стоит недвижно, и здесь развивается и преуспевает то, что может развиваться и преуспевать только в состоянии покоя»[53]. С учетом этой поправки и необходимо, таким образом, прочитывать название настоящей книги.

Перевод работы «В ногу со временем» был выполнен в основном Алексеем Григорьевым — за исключением главы 1.2 «Охрана памятников, или Парадоксы стремления старое вновь сделать старым» и Послесловия, которые были переведены Виталием Куренным. В главе 3.2 «Политический авангардизм, или Прогресс и террор» использован фрагмент перевода, сделанный Николаем Плотниковым. Перевод Алексея Григорьева был основательно переработан в ходе сверки и редактуры.

За консультации по отдельным вопросам, связанным с переводом, мы хотели бы поблагодарить самого Германа Люббе, оказавшего всяческую поддержку нашей работе. Ольга Эдельман помогла нам разобраться с некоторыми тонкостями терминологии архивного дела. Александр Сувалко дополнительно вычитал отдельные главы настоящей книги. Алёна Колесникова, Александра Скоробогатская и Валерия Шалаева взяли на себя труд по упорядочиванию «Указателя имен» и «Предметно-тематического указателя». Мы также хотели бы поблагодарить Сергея Коростелёва, а также Сергея Лаишевцева и всех сотрудников базы отдыха Эко-парка «Зюраткуль» (Челябинская область), которые предоставили нам возможность выполнить значительную часть работы по подготовке этой книги. При написании нашего предисловия мы не только опирались на публикации Ульриха Дирзе, Райнхарта Мауэра, Марка Шведа, Йенса Хаке, но также в течение 2015 г. имели возможность во время встреч с ними лично обсуждать некоторые вопросы, связанные с историей школы Иоахима Риттера. Каждая из этих встреч была необычайно ценной для нас. Наконец — last but not least, — мы хотели бы поблагодарить коллектив Издательского дома Высшей школы экономики за терпение, которое потребовалось при подготовке настоящего издания, работа над которым заняла намного больше времени, чем планировалось изначально.

[52] См. примеч. 1.

[53] Наст. изд., с. 28.

ГЕРМАН ЛЮББЕ

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ. СОКРАЩЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В НАСТОЯЩЕМ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Научно-техническая цивилизация является цивилизацией, обращенной к прошлому. Прежде такого не было. Интенсивность наших усилий по актуализации прошлого не имеет исторических аналогов. Об этом говорит хотя бы тот факт, что наряду с динамическим развитием нашей цивилизации одновременно растет число музеев, а модернизация* нашего градостроительного жизненного пространства дополняется заботой об охране исторических памятников.

Почему же именно современная цивилизация культивирует сознание своей собственной историчности? Что заставляет нас сегодня — в противовес нашей специфически модерновой нацеленности на будущее — как никогда прежде интересоваться прошлым? Ответ на эти вопросы предполагает осведомленность относительно ускоряющегося характера нашей цивилизационной эволюции. Чем быстрее протекают объективные изменения наших жизненных отношений, тем настоятельнее заявляет о себе субъективный опыт того, что мы, в сущности, сами уже неспособны распознавать в современности даже наше недавнее прошлое. Благодаря прогрессу быстрота устаревания увеличивается в науке, технике и экономике, а три или четыре поколения, живущие одновременно друг с другом в модерновой культуре, различаются между собой не только возрастом, но и культурными особенностями, относящимися к различным историческим эпохам.

В больших[1] и малых[2] работах прошлых лет я старался разъяснить происхождение исторического сознания из опыта культурно-революционной динамики. При этом, в частности, мои взгляды в этом вопросе совпадают с мнением Райнхарта Козеллека: лишь тогда, когда в сознании современников разводятся

* Автор различает понятие «modern» (относящийся к эпохе модерна в смысле социально-теоретической и социально-исторической категории, а не искусствоведческой, как это более принято в России) и его производные и «gegenwärtig» (относящийся к настоящему времени, современный). В переводе это различение передается путем использования слов «модерновый» и «современный» — за исключением случаев, где понятие «модерн» не несет специфической концептуальной нагрузки. — *Здесь и далее все примечания, отмеченные звездочкой, сделаны редактором и переводчиком.*

[1] См. по этому поводу прежде всего главу «Evolutionäre Beschleunigung und historisches Bewußtsein» («Эволюционное ускорение и историческое сознание») в моей книге по теории исторического знания: *Lübbe H.* Geschichtsbegriff und Geschichtsinteresse. Analytik und Pragmatik der Historie. Basel; Stuttgart, 1977. S. 304–335.

[2] Ряд исследований по конкретным вопросам происхождения исторического интереса из опыта эволюционного ускорения перепечатаны в сборнике: *Lübbe H.* Die Aufdringlichkeit der Geschichte: Herausforderungen der Moderne vom Historismus bis zum Nationalsozialismus. Graz; Wien; Köln: Verlag Styria, 1989. Например, «Der Fortschritt und das Museum» («Прогресс и музей»), S. 13–29 или «Historisierung und Ästhetisierung» («Историзация и эстетизация»), S. 46–63.

«пространство опыта» и «горизонт ожидания»[3], прошлое предстает как действительно прошедшее, т.е. необратимо завершенное, или актуальное разве что в преображенном виде, а культурная эволюция, которая в ускоренном темпе отдаляет нас от прошлого, становится познаваемой как необратимая, единичная, непредсказуемо-открытая для будущего и тем самым как история в модерновом истористском (historistischen) смысле.

Но именно Козеллек при обсуждении этой темы в незабвенной исследовательской группе «Теория истории»[4] озадачил всех, заявив, что для подтверждения тезиса об ускоряющемся характере цивилизационной эволюции трудно найти эмпирические доказательства. Имеется предостаточно журналистских свидетельств того впечатления, которое произвела на интеллектуалов предполагаемая гипердинамика нашей цивилизации[5]. Но скептики также высказали свое мнение, справедливо заявив, что с помощью субъективных впечатлений едва ли можно обосновать далекоидущие теоретико-культурные утверждения[6].

Цель этой книги — наглядно продемонстрировать указанный ускоряющийся характер культуры модерна. Необходимые для этого материалы в значительной части уже давно представлены в хорошо известных работах наших историков. По понятным причинам результаты экономических и историко-технических исследований оказались при этом особенно интересными — от работ Ландеса[7] до Линн Уайт[8]. Однако при чтении соответствующих публикаций у нас не будет недостатка и в философии, только с позиции которой результаты этих исследований приобретают теоретическое культурно-эволюционное измерение.

Ведь историческая наука несравнимо более философична, чем склонны полагать многие философы.

Однако в других случаях встречаются разбросанные и не связанные друг с другом случайные материалы, которые подходят для доказательства ускоряющегося характера нашей цивилизационной эволюции. Крайне разношерстные институты участвуют в создании или распоряжении этими материалами,

[3] *Koselleck R.* “Erfahrungsraum” und “Erwartungshorizont” — zwei historische Kategorien // Koselleck R. Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt am Main, 1989. S. 349–375.

[4] Деятельность этой исследовательской группы, которая регулярно собиралась во второй половине 1970-х годов в Фонде Вернера Раймерса в Бад-Гомбурге, нашла отражение в ряде важных публикаций по теории истории. В качестве примера назовем следующее издание: *Kocka J., Nipperday Th.* (Hrsg.). Theorie und Erzählung in der Geschichte. Theorie der Geschichte. Beiträge zur Historik. Bd. 3. München, 1979.

[5] См. в качестве примера: *Virilio P.* Geschwindigkeit und Politik. Ein Essay zur Dromologie. Aus dem Französischen übersetzt von Ronald Voullié. Berlin, 1988. (Под названием «Vitesse et Politique» впервые опубликована в 1977 г.)

[6] См. наст. изд., с. 257 и далее.

[7] *Landes D.S.* Der entfesselte Prometheus. Technologischer Wandel und industrielle Entwicklung in Westeuropa von 1750 bis zur Gegenwart. Köln, 1973.

[8] *White L.* Medieval Religion and Technology. Collected Essays. Berkeley; Los Angeles; London, 1978.

а профессиональные отчеты о них и результаты теоретического осмысления публикуются в специальных журналах, ориентирующихся на профессиональные сообщества весьма пестрого состава. Что объединяет архивное дело с официальной статистикой? Как получается, что в управленческой сфере объем делопроизводства растет несравненно быстрее, чем число административных учреждений? Какие последствия вытекают отсюда для архивной практики и тем самым для практики сохранения источников исторического исследования нашего настоящего, когда в будущем оно станет прошлым? Как изменится — в техническом и культурном отношениях — функция научных библиотек под влиянием сокращающегося периода обесценивающего полураспада научной литературы? Как объяснить, что в самых древних местах гуманистической культуры памяти, на наших кладбищах, в настоящее время быстро растет число так называемых анонимных захоронений, а это означает, что захороненные заранее хотели быть уверенными в том, что память о них, связанная с культурой кладбищ, больше не сможет сохраниться? Почему именно художественный авангард поощряет музейное искусство, и что заставляет нас воспринимать строения антиистористского архитектурного модерна как исторические сооружения?

Налицо исключительно разномастные вопросы. Тот, кто в работе с материалами, в отношении которых и возникают эти вопросы, — от актуальной истории кладбищенской культуры до архивного дела и от взаимодействий между патентным правом и технической эволюцией до подоплек актуальных планов в отношении библиотек-книгохранилищ — обратит внимание на отражающиеся в них временны́е соотношения в области культуры, будет удовлетворен в своем справедливом стремлении подтвердить тезис об ускоряющемся характере нашей цивилизационной эволюции. Тогда будет даже невозбранным находить тезис об ускоряющемся характере нашей цивилизационной эволюции тривиальным. Так и повелось в научной практике: стоит только, не жалея сил, найти доказательства того, над чем еще незадолго до этого подсмеивались скептики, как все уже считают это вполне очевидным. Однако нетривиальным остается сведение трудностей, с которыми мы сталкиваемся в нашей современной цивилизации, к исчерпанию институциональных и индивидуальных способностей культурной переработки инноваций. Границы есть и у способности памяти.

Тогда можно понять, например, и уже упоминавшуюся актуальную практику анонимных захоронений. Существуют феномены перегрузки исторического сознания, и не в последнюю очередь это проявляется в так называемом постмодерне. Нетривиальны также культурные феномены специфической для модерна культуры обращения со временем. В динамической цивилизации время становится, с одной стороны, короче, и как никогда прежде мы зависим от инструментов его рационального использования и от темпорального, все более заблаговременного планирования. Вот и добродетель пунктуальности оказывается специфической особенностью модерна. Без нее мы не были бы способны к темпоральной координации действий в социальных жизненных ситуациях, из-за чего многие коммуникативные возможности были бы упущены. С другой стороны, используемый для развития экономики научный и тех-

нический прогресс означает не в последнюю очередь прогресс производительности труда, т.е. увеличение производства в единицу времени, а этот прогресс производительности высвобождает свободное — прежде всего свободное от выполнения профессиональных обязанностей — жизненное время. Как никогда прежде в какой-либо культуре сегодня для индивидуумов расширяются пространства жизненного времени, в которых ничего не происходит, а если и происходит, то по собственному желанию. Продуктивный ответ на этот вызов имеет предпосылки и последствия, анализ которых составляет последующую часть этой книги. В целом вырисовывается картина темпоральной структуры нашей культуры модерна, которая за пределами историко-философских теорий о прогрессе и упадке нуждается в эволюционно-теоретической интерпретации нашей культурной ситуации современности. Вот и для этого могла бы послужить данная книга.

Подробное введение предоставляет возможность для предварительной ориентации в сути содержания и во взаимосвязи ключевых глав книги. При этом пришлось отказаться от доказательств. Указатели содержат все упомянутые в тексте и в примечаниях имена, а также важнейшие понятия, в особенности вводимые здесь новые понятия.

Философы по роду своей профессии не знакомы с большей частью материалов, теоретически осмысляемых в этой книге. Вот я смог вникнуть в них только с помощью советов, охотно предоставляемых мне в подробных обсуждениях специалистами. За это приношу благодарность многим из них. В качестве адресата моей признательности особо позволю себе упомянуть в отношении архивного дела господина архивного директора доктора Вальтера Деетерса из Ауриха (Остфризланд); в области официальной статистики президента Статистической службы земли Баден-Вюртемберг, господина профессора доктора Макса Вингена; в отношении библиотечного дела бывшего директора Германской библиотеки во Франкфурте-на-Майне, господина профессора доктора Гюнтера Пфлюга; в этой же сфере также выражаю благодарность моему брату Райнеру Люббе, дипломированному сотруднику земельной библиотеки в Ольденбурге; за консультации в области современного искусства приношу благодарность моему к этому времени уже покойному бывшему коллеге по Бохумскому университету Максу Имдалю, а также моему коллеге, сотрудничавшему со мной в течение многих лет, историку искусства лиценциату философии Алоизу М. Мюллеру. Теоретические аспекты цивилизационной эволюции я имел возможность часто обсуждать с Бруно Фричем, моим коллегой по Швейцарской высшей технической школе в Цюрихе. Ему я тоже хотел бы выразить мою особую благодарность, а не в последнюю очередь также и моим друзьям Карлфриду Грюндеру и Одо Марквард за многочисленные беседы о происхождении исторических наук о культуре из духа модерна.

Бремя элементарного вникания в специальные области, на которые не распространяются eo ipso полномочия философов, легло на моих теперешних сотрудников — госпожу лиценциата философии Сидонию Блеттлер Шиманн, господина лиценциата философии Тобиа Беццолу, господина доктора Давида Боссхарта и господина доктора Марко Мольтени. Им я благодарен — поми-

мо возможности обсуждения специальных проблем — за литературную обработку, за помощь при корректуре, а также за составление указателей. Госпожа Греете Штолль-Лангенберг обеспечила техническую подготовку рукописи. Эта технология сегодня достаточно сложна, и только владеющий ею может помочь как автору, так и издателю. Это было обеспечено здесь не в последнюю очередь благодаря многообразному дружескому содействию, оказанному во всех вопросах по программированию господином доктором Алоизом Рустом.

В заключение приношу благодарность Фонду Фрица Тиссена, помощь которого позволила мне на некоторый период освободиться от академической рутинной работы и удалиться в уединенную келью. Без такой разгрузки общие затраты времени на работу над книгой пришлось бы удвоить.

Цюрих, осень 1991 г. *Герман Люббе*

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

В третьем издании книга «В ногу со временем. Сокращенное пребывание в настоящем» также оставлена без изменений, не считая несущественных корректур. Внимание, которое она вызвала, тем не менее побудило развить некоторые ее тезисы и аналитические подходы в послесловии, учитывающем одобрительные отзывы и критику, а также некоторые важные и значительные новые публикации, посвященные теме времени. При этом я ограничился четырьмя существенными вопросами, которые рассмотрены в параграфах «*Сокращение настоящего. Новое понятие вызывает интерес*», «*Выигрыши во времени и актуальность моралистики времени*», «*Издержки времени как смысловая граница инноваций*» и «*Расцвет наук о духе и будущее воспоминания*».

Цюрих, осень 2002 г. *Герман Люббе*

ВВЕДЕНИЕ

Борцы с музеями среди авангардистов, и прежде всего Маринетти, критиковали музеи как кладбища искусства. Музеефицированное искусство — мертвое искусство, а музеи — просто морги. Эта метафорика стала для нас привычной. Еще в конце 1960-х годов ее риторически подновили, преследуя свои цели, касающиеся политики в области искусства. Даже известные директора музеев, конформистски уступая давлению мимолетного духа времени той эпохи, заявляли, что музеефицированное искусство — это вымершее искусство. Но даже если бы так оно и было, все же, заглядывая в прошлое, мы терялись бы в догадках, почему Маринетти выводил отсюда назревшую необходимость ликвидации музеев. В его футуристической антикладбищенской полемике подчеркивалась несовременность того, что итальянцы, как и жители других стран, как и прежде, дорожили своими кладбищами. Где бы еще вместе с покойниками стремились по возможности похоронить и память о них? Только в тоталитарных режимах нашего столетия было такое возможно, если, конечно, мертвецы были мертвыми врагами. Тоталитарные вершители исторического смысла действительно пытались вместе с жертвами ликвидировать продолжение их жизни в памяти потомков. Истреблялись даже их имена, а облик их массовых захоронений меняли до неузнаваемости.

Контраст этому составляет культурная нормальность продолжающегося присутствия мертвых в памяти, а кладбище является важнейшим местом в этой культуре памяти. Наши историки со своей стороны историзировали богатую и разнообразную историю этой культуры памяти. Историография кладбищ есть живая часть истористской актуализации прошлого, характерной для цивилизации модерна. Память, которой служит кладбище, в соответствии со своим происхождением и сохраняющимся смыслом не является — в своей банальной форме — памятью в духе историзма. Тем не менее сегодня воспоминание о мертвых также несет отпечаток культуры памяти в духе историзма. Это относится уже к индивидуально-ориентированному воспоминанию о мертвых, которое во многих регионах развивалось на реформированных кладбищах XIX в. Информация на надгробиях, указывающая на титул, профессиональную принадлежность и данные об основании фирм, говорят об успешных буржуазных карьерах, которые при жизни уже увековечивались в форме автобиографий и которыми, в случае знаменитостей, грядущие поколения начали интересоваться в локально-историческом, да и биографическом аспектах. Старинная привилегия увековечивать свое имя, высекая его резцом на камне, которая на домодерновых церковных кладбищах не могла стать общим правом ни из-за нехватки места, ни по экономическим причинам, подверглась демократизации, и к настоящему времени почти каждый человек может рассчитывать на то, что его имя в связи со смертью будет сохранено в бронзовом литье или еще каким-либо образом.

Но уже на этом маргинальном месте пределы нашей способности памяти начинают назойливо заявлять о себе. Вместе с историзацией нашей культу-

ры, разумеется, удлинились в первую очередь сроки установления надгробий. И все же они редко превышают срок жизни одного поколения. Однако вплоть до сегодняшнего дня обычная практика состоит в том, что надгробные памятники, которые — в соответствии с их первоначальным смыслом культурной памяти — должны были бы сохранить свои запечатленные в камне надписи до скончания времен, сносятся. Кладбища суть мемориалы, напоминающие о нашей бренности, и на сборных пунктах снесенных надгробий нам напоминают дополнительно о бренности наших усилий по консервации памяти.

Срок сохранения памяти о нас, на который мы сегодня можем рассчитывать после смерти, значительно удлиняется в результате придания некоторым кладбищам статуса охраняемого памятника. Число подобным случаям быстро растет. Никогда еще не было столько кладбищ, как сегодня, которые продолжают существовать, хотя на них уже давно никого не хоронят. Они продолжают жить в нашей культуре памяти как памятники предшествующих эпох, особенно если на них погребены люди, которые мы сегодня считаем крупными именами, руководствуясь памятью, дисциплинированной исторической наукой. Тот, кто покоится на кладбище знаменитостей, ставших частью истории, может быть уверен, даже если он не знаменитость, что сроки сохранения его могилы значительно превысят обычные сроки ликвидации участка. Речь здесь идет о случаях консервации памяти как побочного эффекта консервации памятников культуры памяти, проводимой в рамках охраны исторических памятников. Существует даже спекуляция подобным эффектом. Повышенный спрос на могилы на так называемых кладбищах знаменитостей существует и может быть подтвержден статистикой. После смерти человека живые стремятся похоронить его вблизи знаменитостей, потому что ожидается, что в историческом сознании будущего им суждено оставаться современными. Желание древнего христианина, чтобы его могила находилась как можно ближе к реликвиям какого-либо святого, обретает здесь вторую жизнь в секуляризованной форме истористской культуры.

Одновременно в модерновых обществах распространяются всевозможные формы анонимного захоронения — от выбора незаметной могилы посреди обширного зеленого газона до дорогостоящей крайности — рассеивания собственного праха над морем. Подобные усилия по упразднению кладбища как места индивидуально-ориентированного воспоминания о мертвых путем полного устранения всех внешних зацепок для этого воспоминания, находятся в кажущемся противоречии к растущей значимости «организованной» памяти в жизненном контексте модерновой культуры. Кажущимся это противоречие является потому, что указанная практика анонимного захоронения вовсе не сигнализирует об отсутствии интереса к продолжению жизни в памяти. Напротив, речь идет об актах заблаговременной деликатности, когда заранее хотели бы освободить оставшихся в живых от ритуального долга памяти, который все чаще плохо вписывается в мобильный образ жизни модернового человека.

В сфере охраны памятников, где кладбища уже давно возведены в ранг исторических памятников, пределы способности памяти как будто еще не до-

стигнуты. Так, охрана памятников все еще расширяет круг своих объектов, разве что все чаще возникают финансовые ограничения, которые не может преодолеть воля, подстегивающая гражданские инициативы архитектурных, и даже градостроительных проектов консервации прошлого. Охрана памятников не в последнюю очередь расширяется и в темпоральном отношении, что соответствует временно́й структуре модерновой цивилизации. Тривиально, что при этом как по эту, так и по ту сторону лимеса* продвигаются все дальше в сторону древнейшего прошлого и в ходе целенаправленных раскопок добывают такие реликты, которые еще несколько десятилетий назад даже профессионально тренированный глаз едва ли принял за реликты. Нетривиально же то, что в истории охраны памятников постепенно уменьшается число лет, за которыми начинается прошлое, уже ставшее ценным в аспекте исторических памятников. В точности комплементарным динамике цивилизационных инноваций оказывается феномен того, что наши исторические памятники становятся все моложе, а современность, т.е. хронологический период времени, который мы еще не считаем способным порождать исторические памятники, все короче.

Эта комплементарная взаимосвязь роста скорости обновления и растущего интереса к консервации прошлого была описана неоднократно. Чем стремительнее под влиянием инноваций изменяется на наших глазах градостроительное жизненное окружение, тем важнее становятся — в качестве посредников для формирования опыта континуальности — архитектурные достижения вчерашнего дня, которые мы сегодня охраняем как исторические памятники. Для описания этой взаимосвязи полезно воспользоваться понятием компенсации: охрана памятников компенсирует утрату привычности, обусловленную темпом изменений.

Понятие компенсации делает понятным, почему мы, не считаясь с затратами, консервируем архитектурные и прочие реликты нашего прошлого, тогда как в домодерновых, а значит, и доистористских эпохах истории наши предки обращались с подобными реликтами как с каменоломнями, т.е. источниками материалов, или, иначе говоря, — как со вторсырьем. Между тем компенсаторная теория истолкования работы исторического сознания подверглась ожесточенной критике. При этом в рамках идеологической критики этой теории приписывают намерение утешить несчастное сознание цивилизации модерна, дела которой не блестящи, посредством истористской актуализации лучшего прошлого, чтобы дать возможность модернизации и дальше делать свое гнусное дело. Этот упрек бьет мимо цели. Рассуждать о будущем потенциале модерновой цивилизации — это одно, другое дело — анализировать культурные условия ее самосохранения, пока она еще продолжает существовать и считается достойной сохранения. Здесь речь идет только об анализе культурных условий

* *Лимес* (*лат.* limes) — римская военная дорога; граница, отделяющая Римскую империю от варварских (например) германских племен, от неподвластных Риму государств. Здесь, видимо, имеется в виду граница между германскими и негерманскими странами.

самосохранения модерна. Описываются функциональные взаимосвязи, тогда как причины, которые, вообще говоря, хотелось бы иметь, для того чтобы морально и эмоционально сочувствовать или не сочувствовать модерновой цивилизации, не являются темой данной книги. Вот почему в этой книге не найти требований усилить охрану исторических памятников — скорее можно почерпнуть сведения о том, что с ростом потребности в памятникоохранной и прочей культурной актуализации прошлого одновременно все настойчивее заявляют о себе пределы осуществимости этой потребности. Эти границы ощущаются в современной тенденции в сфере охраны памятников — самореферентно делать себя объектом собственной практики. Хоть и звучит непросто, но это точное описание того процесса, что порождения вчерашней системы охраны памятников сегодня уже сами считаются историческими памятниками и сохраняются как таковые в рамках охраны памятников. У охраны памятников имеется своя собственная история, и она, в свою очередь, уже историзировалась. Чуть ли не столетие назад разгорелся спор о том, нужно ли реставрировать (точнее, восстанавливать) обратившиеся в руины или дошедшие до нас незавершенными строения или же их следует консервировать как руины из уважения к их «ценности руин». Сегодня мы консервируем отреставрированное, консервируем и руины, оставленные в таком виде в ходе реставрации. «Так дальше не может продолжаться», — приходит в голову профану. И в самом деле: всем видно, что плоды наших множащихся усилий по уходу за историческими памятниками уже нельзя считать удачными и описывать их соответствующим образом, а также комплементарно к модерну сохранять старым то, что было старым в актуальную эпоху этого модерна.

Более того, надо сказать, что вид наших городов и сел, приукрашенных деятельностью по охране памятников, представляет собой зрелище, до сих пор ни одним поколением не виданное. Все, что предстает перед глазами, это попросту новодел. Перед нами не объекты охраны исторических памятников, а порождения ее историзирующей архитектурной практики, отличающиеся крайне разношерстным изобилием компромиссов в потугах сочетать функцию практического использования старого строения с его функцией исторического памятника, определяемой историческим сознанием.

Мы не станем выдвигать спекулятивных предположений о том, как будут протекать намеченные и подробно описанные в соответствующих главах этой книги эволюционные процессы и к чему приведут тенденции к самоисторизации модерновой цивилизации. На текущий момент можно констатировать следующее: культурное многообразие нашего архитектурного жизненного окружения никогда не было больше, чем сегодня. Так называемое массовое общество вовсе не подчинило наши города своим мнимым тенденциям омассовления. Еще никогда не сосуществовали столь исключительно разнородные по своему историческому происхождению вещи в более плотных сгущениях пространства и сжатых сроках времени, чем сегодня. Продолжают сохраняться постройки периода архитектурного историзма, и элементарное историческое образование все еще позволяет воспринимать их как строения, способные рассказать о себе. С этим историзирующим красноречием контрастирует

антиисторизм архитектурного модерна, который оптически выставляет напоказ строительные функции, но взамен, как правило, скрывает функции пользовательские. Обе эти вещи развитый историзм унифицировал, историзируя в ходе деятельности по охране памятников как более старый архитектурный историзм, так и антиистористический конструктивизм. Что же дальше? Так называемый постмодерн является не столько ответом на этот вопрос, сколько выразительной его постановкой. То, что, в свою очередь, породил постмодерн, является чем-то вроде демонстрации перегрузки нашего исторического чувства. Оглядываясь в прошлое, люди думают, что понимают Ницше, который вопреки куда более скромному плюрализму стилей того времени определял культуру как «единство художественного стиля во всех жизненных проявлениях народа»*. Но по опыту нашего столетия мы, между тем, узнали, что всякая попытка преобразовать это определение культуры в культурно-политическую программу не может не привести к архитектурному и градостроительному тоталитаризму.

В аналогичных трудностях запутался и авангардизм. Обязанность производить новое требует, чтобы устаревшее назойливо себя предъявляло. Тот, кто с намерением преодолеть музеефицирующий подход призывает к увеличению скорости инноваций, ускоряет вместе с тем процессы устаревания, благодаря которым искусство достигает своей зрелости для помещения в музеи. Такое понимание времени, присущее модерну, тематизировано историками искусства уже в 1920-е годы. Ничто так не поощряет музеефикацию искусства, как взятое на себя обязательство по непременному перевыполнению того, что достигнуто на текущий момент времени. Тот, кто уже сегодня хочет быть завтрашним, послезавтра сам будет вчерашним — посредством этой лаконичной формулы я пытался зримо изобразить темпоральные последствия авангардизма. Между тем искусство, которое, согласно первоначальным футуристическим манифестам, стремилось преодолеть институт музея, производится в качестве как так называемого музейного искусства, и крупные художники в условиях авангарда солидную часть своей жизни существовали как представители давно историзированных (потому что давно превзойденных другими) новаций вчерашнего дня. Оглядываясь на недавние периоды своей деятельности, художник сам становится историческим. Тем временем растущая разновременность одновременного стала в течение короткого срока жизни одного поколения необозримой, и растет доля молодых, чьи достижения еще не стары, но уже устарели.

Культурные последствия наличия этой простой, но навязчивой темпоральной структуры авангардизма значительны. Во-первых, чем скорее надвигается фронт нового, тем быстрее каждое конкретное состояние вещей утрачивает долю своей темпоральной однозначности. Любые прорывы в будущее становятся жертвами исторического срока, в пределах которого мы осмысленно можем

* *Ницше Ф.* Давид Штраус — исповедник и писатель / пер. с нем. И. Эбаноидзе // Ницше Ф. Полн. собр. соч.: в 13 т. Т. 1/2: Несвоевременные размышления. М.: Культурная революция, 2014. С. 7–82, с. 12.

образовать понятия, обладающие, в свою очередь, значимостью лишь в течение некоторого ограниченного времени. Тем самым, во-вторых, по меньшей мере непрофессионалы среди любителей искусства лишаются возможности исторической переработки результатов недавнего историко-художественного развития. Его генетическая реконструкция становится уделом экспертов, но даже историческое сознание этих экспертов то и дело оказывается перегруженным. Это оказывает воздействие, в-третьих, на исполнимость и тем самым на обязательность притязаний авангарда. Смысл усилий, прилагаемых для того, чтобы находиться впереди, терпит крах из-за невозможности художника находиться впереди на протяжении даже сколько-нибудь короткого промежутка времени. Художники, как и их публика, таким образом, возвращают себе свободу формирования и рецепции новых необычных предпочтений, которые в обычном случае связаны с долгоживущими пристрастиями. Тем самым, в-четвертых, реабилитируется эклектизм. Философия истории, полагавшая, что применительно к искусству и политике в состоянии распознавать в новом одновременно обязательное, как известно, отвергала эклектизм как недопустимый в познавательном и моральном отношениях. Иначе обстоит дело с традицией либерального просвещения. Для нее эклектизм всегда означал высшую интеллектуальную добродетель, которая к тому же была способна обеспечивать себе еще и христианскую легитимацию («Все испытывайте, хорошего держитесь», 1 Фес. 5, 21). Там, где мы обнаруживаем, что перегружены обилием нового, постоянно превосходящего прежнее, мы имеем право на более продолжительный срок остановиться на том, что уже зарекомендовало себя как хорошее. Это относится и к вероятному случаю, что мы при этом можем упустить что-либо лучшее. Дело в том, что при растущей скорости обновления, с одной стороны, и остающимся постоянным сроком жизни — с другой, расходы, связанные с перенастройкой на новое, превышают выгоду, которую могло бы действительно принести новое, заменив испытанное старое.

Короче говоря, с ростом скорости инноваций уменьшается предельная полезность нового в культуре. Это повышает значимость культурных запасов, не подвластных старению. Понятие классического, в его специфически модерновом значении, есть понятие, относящееся к этим запасам. В определенном отношении публика в предыдущие эпохи истории искусств была больше связана с современностью, чем мы сегодня. Карл Дальхаус четко показал это на примере истории музыки, скупо указав, что те прошедшие эпохи, в которых преимущественно и рождалась музыка, которую сегодня мы ценим как «классическую», не знали никакой классики. Концертные программы сегодняшнего дня с исторической точки зрения куда более пестрые, чем были в те времена. Эта историческая дифференцированность вообще присуща культуре модерна. Ей соответствует постоянно прогрессирующая дифференциация образования, функция которой — сохранять у нас способность к рецепции. Тем самым, однако, исчезает и культурная гомогенность вкуса, иными словами, выделить господствующий вкус эмпирически уже невозможно. Что касается недифференцированного суждения вкуса, то в дифференцированной культуре оно уже не стесняется высказывать, да и реализовывать себя, что опять-таки делает не-

избежным эклектизм как адекватную форму обращения с тем, что нам в целом рекомендуется или навязывается. Требования единства стиля, которые можно вывести из процитированного понятия культуры, предложенного Ницше, оказались между тем невыполнимыми, и отвращение Адорно к музыке для музыкантов под флагом музыкального авангарда есть не что иное, как выражение элитарной позиции интеллектуалов, которая, к счастью, не имела никаких последствий и которую, однако, также не хотелось бы упустить как элемент в напластовании, которое сегодня представляет собой культура модерна, вплоть до недавнего времени авангардистски настроенного. Чем стремительней движется вперед поток истории, тем менее ламинарным он делается, т.е. движущимся по всей своей ширине равнонаправленно и с одинаковой скоростью. К этой структуре ламинарности процесса цивилизации, ламинарности, уменьшающейся с ростом динамики эволюции, мы еще вернемся, чтобы рассмотреть ее повнимательнее. Ведь в недавней истории искусств именно авангардизм невольно способствовал образованию завихрений, в которых уже ничего больше не движется вперед.

«Авангард», как известно, метафора из военной области. А футуризм охотно использовал военную риторику в целях саморепрезентации. Это указывает на политические притязания авангардизма, чтобы искусство и политика, маршируя в будущее, шагали в ногу. Таков был замысел. Однако политический авангардизм, пока он марширует в будущее и ощущает в себе силу свершения исторического смысла, тождествен тоталитаризму. На службу тоталитаризму были взяты и некоторые представители художественного авангардизма — их соблазнила идея единства искусства и политики, в рамках которого они претендовали на роль репрезентантов — передового отряда — культуры и общества будущего. Эта попытка политизации искусства и эстетизации политики, как известно, провалилась. Художественная интеллигенция, стремившаяся идти в ногу с ходом мировой истории, вместо того чтобы выполнять функции передового отряда, тотчас брала на себя роль попутчиков диктатур, управлявших смыслом истории. В отношении итальянского футуризма это достаточно хорошо известно. Но это относится — что менее известно — также к русскому футуризму в его постреволюционной ангажированности в диктатуре Ленина. Согласно политико-романтическому мифу, на заре господства советов после Октябрьской революции на протяжении одного звездного часа человечества художественный и политический прогресс в силу эволюционной логики развития человечества пребывали в согласии. В действительности уже Ленин, а не только Сталин, был великим тираном, и как марксистский теоретик стал завершителем той политической философии истории, которая вплоть до Сталина и после него составляла легитимационную основу советской диктатуры. Но согласно логике этой властно-политической самолегитимации марксистско-ленинского образца, русские футуристы считали себя, в свою очередь, вознесенными революцией «к власти» и выдвигали «претензию авангарда» быть представителями единственно революционного искусства, созвучного пролетариату. Последствия этого очевидны: «При этом наследство прошлого должно быть беспощадно очищено от всех примесей буржуазного распада и разврата...».

Это не распоряжение Сталина, а художественно-политическое заявление «Художественного сектора Наркомпроса и ЦК профсоюза работников искусства об основах политики в области искусства» в формулировке А. Луначарского и Ю. Славинского*.

Правда, как и в данном случае, революция не замедлила пожрать своих детей. Недопустимо в духе ретроспективного пророчества утверждать, что этого следовало ожидать. Но при ретроспективном рассмотрении можно без труда понять, почему попытка авангардизма взять на себя роль художественно-политического исполнителя тоталитарной власти была обречена на провал. Причина заключалась не в том, что между художественным авангардизмом и политической свободой существовало исконное родство, и тем самым авангард хотя бы уже из-за своих притязаний на свободу должен был пасть жертвой установившейся диктатуры пролетариата или других тоталитарных диктатур. Более того, политика в отношении искусства тоталитарных режимов, чьи диктаторы ведь легитимировали себя как народные вожди, — Геббельс называл это «облагороженной демократией» — привела к упразднению авангардного искусства из-за его недостаточной народности. Однако временно́й промежуток между революцией и ликвидацией авангарда был в Советском Союзе несравненно большим, чем в национал-социалистической Германии. В сущности, это было связано с двумя причинами. Во-первых, национал-социалистическая германская рабочая партия, в отличие от партии большевиков в ее ранний период, видела в себе вовсе не политический авангард масс, а напротив, организацию самих этих масс. Вот почему она вплоть до своей политики в области искусства придерживалась популистской ориентации. Во-вторых, Гитлер, в отличие от высокопоставленных советских вождей, считал себя одновременно и художником, причем с антиавангардистским биографическим оттенком. Так, осторожные попытки Геббельса приспособить весьма немецкий по духу экспрессионизм к национал-социализму немедленно терпели крах, и даже выставки, которые в ранний период Третьего рейха под эгидой Геббельса все же могли посвящаться футуристическому искусству фашистской Италии, не имели никаких последствий для политики в области искусства.

Проведение тоталитарного популизма в сфере политики в области искусства, как известно, означало в архитектуре поощрение монументалистских вариантов неоклассицизма. Если смотреть на это из перспективы подозрения в духе критики идеологии, то в Германии стиль архитектурного монументализма, появившийся в межвоенное время на контрасте с архитектурным модернизмом, сам должен был возникнуть из того тлетворного духа, которому он впоследствии действительно должен был служить. Так воспринимается ситуация в авангардистской перспективе, причем снова путем приписывания искусству и политике полного параллелизма как в историческом позиционном раскладе сил, так и в тенденции — на этот раз в виде реакционно-регрессивного марша в ногу. И снова реальность учит нас, что в эволюции модерна движения

* «Тезисы художественного сектора НКП и ЦК РАБИС об основах политики в области искусства» (*Луначарский А.* Об искусстве: в 2 т. Т. 2. М.: Искусство, 1982).

в политике, с одной стороны, и в искусстве — с другой (как и в других секторах культурной и общественной жизни) протекали вовсе несинхронно. Ни в ходе «прогресса», ни в ходе «регресса» в отличие от того, что предполагал Маркс, теоретизируя в области истории и идеологии, экономический базис и правовая институциональная, а также культурная надстройка никогда не переживали переворот одновременно. В который раз здесь обнаруживается вот что: вместе с динамикой цивилизационной эволюции растет разновременность того, что в хронологическом смысле существует одновременно, и вместе с этим увеличивается вероятность анахронических комбинаций, а также, в частности, идеолого-политического выдергивания цитат из истории. Неверно полагать, подчеркнем еще раз, что художественный авангардизм eo ipso был прогрессивно ориентирован и в области политики. Но из того факта, что он ставил себя на службу тоталитаризму — как правому, так и левому, нельзя делать и вывода об изначальной тоталитарной склонности этого авангардизма. Аналогично обстояло дело и с архитектурно-исторической специализацией монументализма: как показал прежде всего Лампуньяни, из антитетической позиции монументализма по отношению к архитектуре модерна нельзя делать абсолютно никаких выводов в политическом и идеолого-критическом отношениях. Монументализм, о котором шла речь, встречается в межвоенный период в Париже и Риме, в Лондоне и Мюнхене, в Хельсинки и Москве. В самом деле, тоталитарные власти тогда канонизировали архитектурный классицизм. Но это происходило не потому, что уже в каждой колоннаде как таковой манифестировалась готовность встать в строй и в политическом смысле. Напротив, причина состояла в том, что в условиях авангарда, в полном соответствии с самопониманием авангарда, историзирующие репризы всегда популярнее, чем эзотерика самоновейшего. Именно это и претворилось тогда в популистскую политику в области искусства тоталитарных властей — от неоклассицистских пантеонов (Ehrentempeln) Гитлера через социалистический реализм вплоть до придания Новой караульне Шинкеля новой функции антифашистского мемориала со сменой караула, печатающего шаг в духе прусских традиций.

В итоге это означает, что в основе самопонимания авангардизма лежит философия истории историцистского типа. Историцистская философия истории — это суеверие, будто из нашей динамичной цивилизационной эволюции можно извлечь морально-политический долг — шагать в ногу с этой эволюцией, даже выступать на линию фронта ее движения и там мчаться по команде «вперед!». Морализируя и политизируя историческую эволюцию, сам авангардизм превращается в движение культурно-политической унификации движений. Тем самым он отказывает в должном признании плюрализма стилей одновременно существующих разнородных явлений, плюрализма, который должен возрастать вместе с динамикой культурной эволюции. Вот почему авангардизм также относится к ряду специфически для модерна культурных видов антимодернизма.

Вместе с тем у авангардизма имеется одно мнимое преимущество, оно-то не в последнюю очередь и делало его идеологически привлекательным. Тот, кто полагает, что познал историю в целом, как процесс, который интеллектуально

разведан и проводится авангардами, тот игнорирует случай и способен усматривать в эволюциях процессы осуществления смысла истории. В ретроспективе при раскрытии исторического смысла прогресс вчерашнего дня доступен идентификации. Работа историографов упрощается. История уже больше постоянно не переписывается, а всегда только продолжает писаться вместе с ходом истории, закономерность которого принципиально познана. Нетрудно даже дать ответ на вопрос, как современность должна традировать знания о себе будущему, чтобы в будущем в качестве прогресса вчерашнего дня в историографии этого будущего можно было бы учесть нынешнюю современность адекватно ее историческому смыслу. Короче говоря, теория истории способна овладеть реальной историей. Изложение того, как это происходило на самом деле, становится иллюстрацией теории истории. Комплементарно авангардистской однозначности прогресса однозначность памяти ведет себя как принцип господствующего культурного и политического консерватизма. Профессиональные хранители памяти занимаются своей работой, не страдая от приступов сомнения в отношении самих себя.

В либеральных культурах, которые не обязаны придавать истории политико-идеологический смысл, процессы формирования памяти и консервации памяти протекают в противоположность этому несравненно сложнее. Мы вольны считать, что эти процессы формирования и консервации памяти, в свою очередь, являются историями, т.е. не могут быть в совокупности охвачены какой-то теорией, являются контингентными, направленными, но не целенаправленными и одновременно необратимыми процессами, т.е. они представляют собой эволюции, в рамках которых никто (причем по принципиальным причинам) заранее не может знать, что захотят в будущем знать о том прошлом, которым наша современность затем станет, и какими традированными из прошлого источниками этого знания там хотели бы располагать.

Это вовсе не далекая от практики традирования философская рефлексия. Напротив, речь идет о дилемме, уже давно настоятельно заявившей о себе в практике профессионального формирования архивной традиции, которой в контексте историзирующей себя саму цивилизации отводится центральная роль. В домодерновые исторические эпохи, когда еще не сформировалось сознание своей историчности, традировались сведения, которые позднее для исторического сознания приобретут значение источников профессионального исторического знания, без учета того интереса к сохранению подобных источников, который позднейшее историческое сознание охотно видело бы сформированным пораньше. Это справедливо и для канонизированных традиций, благодаря которым в доистористских культурных эпохах прошедшие и грядущие времена, не взирая на хронологический промежуток между ними, объединены в единство культурной значимости. Потребность в источниках для удовлетворения истористского интереса к истории, который появляется только в культуре модерна, простирается далеко за пределы содержания канонизированных традиций. Традиции при этом, в свою очередь, историзируются, и выявляются контингентные перемены, которым подвержены и сами каноны. Зная об этом, историческое сознание берет на себя задачу обеспечения источ-

никами исторических исследований в будущем. Оно, повторим еще раз, предвосхищает тот интерес, который будет привлечен в будущем к тому прошлому, которое для нас самих еще является современностью. В модерновой цивилизации архивы, как частные, так и общественные, превратились в институты предусмотрительного сохранения исторических источников, ориентирующихся на будущий интерес к прошлому. Функция сохранения исторических документов, имеющих непреходящее правовое, политическое или прочее практическое значение, играет в архивной практике модерна лишь второстепенную роль. Абсолютно доминирует цель сохранения информационных реликтов, оставшихся от завершенных коммуникативных процессов современности, в интересах будущих исторических исследований.

Поскольку историческое сознание берет под свой контроль сохранение исторических источников для будущих исторических исследований, можно предположить, что в будущем дефицит источников в исторической науке уже не будет осложнять научно-историческую исследовательскую практику. И все же эта красивая утопия неограниченной доступности информации о прошедших временах, к которой захотело бы обратиться в будущем историческое сознание, терпит крах хотя бы уже из-за проблем, связанных с количеством материалов, которые с нарастающей скоростью заваливают нас в силу информационной динамики цивилизации модерна. Насколько просты были проблемы архивации, например, к началу XIX столетия, когда «письменную документацию к ежегодному финансовому отчету города размера выше среднего» можно было сложить в папки, которые лишь за семь лет заполняли один погонный метр полок. С тех пор, как могут подтвердить специалисты, приток поступающих документов возрос примерно в 800 раз. Равнодушный к экономической, социальной и административной статистике исторический профан мог бы возразить: ну что интересного мы можем узнать из финансового отчета города средних размеров? Вместо этого наш профан, любитель истории, хотел бы познакомиться с главными событиями большой политики в нашем столетии. Но и политику можно исследовать только на основе источников, например, на базе архивов американского федерального правительства, фонды которых уже 30 лет назад прирастали в год почти на тысячу километров, — в 100 раз быстрее, чем 100 лет назад.

Что подобные величины означают для практики формирования архивной традиции, неспециалист с ходу, понятно, осмыслить не в состоянии. Поэтому приведенные для примера данные служат только подтверждением того факта, что превращение такого объема быстро растущего множества старых документов в исторические источники невозможно. Ни наши технические возможности по сохранению информации, ни наши институциональные и человеческие возможности по переработке информации с исторической целью не позволяют справиться с таким количеством данных.

Как тут быть? Ломать голову над ответом на этот вопрос нет нужды. Этот ответ — отбор документов для уничтожения. За этим словом из профессионального языка наших архивариусов стоит грубая практика селекции фондов старых документов: отбор того, что в самом деле хотелось бы сохранить в качестве

источников для будущих исторических исследований, и того, что будет переведено в ранг макулатуры и далее отправлено на заводы, занимающиеся переработкой старой бумаги. Доля остатков сведений о прошлом, реликтов завершенных процессов административной коммуникации, оставшихся после уничтожения ненужной документации, постоянно снижается, тогда как практика уничтожения старых документов продолжает расширяться в соответствии с ростом массы поступающей новой документации. Именно в Великобритании, которую мы, согласно распространенному стереотипу, считаем страной, уважающей традиции больше всех европейских стран, в практике отбора документов для уничтожения действуют самым радикальным образом. Менее 10% информационной административной продукции считаются здесь достойными того, чтобы быть традированными будущему в качестве источника знания о прошлом. Но, возможно, именно традиционализм британской культуры, который отнюдь не является историзмом, есть причина этого радикализма в практике отбора документов для уничтожения.

Ключевой вопрос к будущему историческому сознанию в отношении его способности к пониманию прошлого формулируется, естественно, так: по каким критериям в числе остатков сведений о прошлом нашей современной культуры следует отличать будущие исторические источники от других материалов, ценность которых не превышает ценности макулатуры. Ответ, гласящий: важное для цели будущих исторических исследований следует сохранять, а неважное нужно уничтожать, не решает проблемы, но лишь ставит ее. Согласно темпоральной структуре этой проблемы, такой ответ требует предвидения будущих исторических интересов в сфере актуализации того прошлого, которым впоследствии станет наше собственное настоящее. Это и есть именно то предвидение, которым в контексте расширяющейся самоисторизации, столь характерной для цивилизации модерна, действительно должны располагать те, кто профессионально занимается формированием архивной традиции. Историко-культурное значение подобного предвидения тем больше, чем жестче проводится практика отбора документов для уничтожения под давлением драматически растущей массы цивилизационных остатков сведений о прошлом. Поэтому вполне естественно, если мы выдвинем собственное понятие для обозначения усилий по такому предвидению, а именно понятие прецепции. «Прецепция» при этом, как слово, образовано по аналогии с хорошо знакомым нам из герменевтики понятием «рецепция». А рецепция, как известно, есть процесс воспоминания, актуализации прошлого с использованием доступных источников возможного знания об этом прошлом и в зависимости от вопросов и интересов, с помощью которых мы в настоящее время в соответствии с нашей научно-исторической, культурной, да и политической ситуацией соотносим себя с прошлым. Аналогом этого является прецепция — предвосхищающая оценка интереса будущей рецепции с целью распознания среди скапливающихся в настоящее время старых данных тех, без которых — как источника будущего исторического знания — тот интерес рецепции будет невозможно обслуживать.

Охарактеризованное таким образом понятие прецепции ничего не постулирует. Однако оно описывает актуальную практику наших архивистов и

других людей, занятых формированием архивной традиции, а им уже давно известно, что эта практика кроет в себе неразрешимые проблемы. Вместе с модернизацией цивилизации модерна накапливается осадок документальных реликтов, создаваемых в процессах коммуникации, которая в бюрократии и науке, в хозяйстве и в культуре приватной жизни связывает институциональные и индивидуальные элементы этой цивилизации. Одновременно с динамикой цивилизации модерна растет скорость устаревания информации, возникшей в процессе коммуникации. В результате этого уменьшаются возможности предвидения цивилизационной эволюции и становятся очевидными принципиальные границы разрешения проблемы прецепции. Мы не знаем, что мы благодаря науке будем знать в будущем. Кроме того, мы не знаем, какие практические проблемы, вызванные непредвиденными, более того, даже непредставимым побочными последствиями технической реализации и экономического использования научного знания, будут в первую очередь вызывать у нас озабоченность. Тем самым мы вообще не знаем, как в зависимости от коллективных идентичностей, которые мы обретем в будущем, будут тогда выглядеть господствующие культурные интересы актуализации прошлого. Само собой разумеется, процесс цивилизации остается прошитым антропологическими константами.

Ни одна новая историческая ситуация не является абсолютно новой ситуацией, не имеющей аналогов. Так и в истории прецепции, которую уже можно писать, выработались оправдавшие себя правила отбора документов для уничтожения, годность которых подтверждена на практике. Тем больше сожалеют по поводу ошибочных оценок, когда обнаруживают, что уже не располагают необходимыми источниками, причем известно, как было легко сохранить их, если раньше знали бы, что позднее возникнет исторический интерес, удовлетворить который может только этот источник. Ситуация знакома нам из собственного опыта частной жизни. Сегодня скапливается масса домашних документов, налоговых деклараций, страховых полисов, актов различных обществ и частной корреспонденции, и объем этой массы значительно превышает средние возможности домашнего хранения. Вот почему постоянно приходится отбирать документы для уничтожения, причем все чаще оказывается, что письма старших коллег, которые расценили как ненужные и выбросили, требуются издателям той или иной переписки или даже, вместо макулатурного пункта, могли бы попасть на рынок автографов.

В целом считается, что с растущей информационной динамикой шансы нашей цивилизации на формирование адекватного исторического сознания не улучшаются. Мало того, они ухудшаются, поскольку масса поступающих реликтов коммуникации растет быстрее наших институциональных и индивидуальных возможностей их хранения и обработки в ходе исследовательской практики. Разумеется, существуют высокоэффективные методы концентрации старых данных. Одним из них является статистика, и сжатая информация, которую мы можем почерпнуть из хранилищ наших официальных и прочих статистических бюро, делает излишним хранение миллионов закрытых налоговых деклараций, больничных листов, досье о нарушениях общественного

порядка, документов по страхованию жизни с истекшим сроком или прочих бумаг о частных событиях, абсолютно бесполезных в историческом отношении. Более важные документы можно, в пределах заданных расходов, миниатюризировать в виде микрофильмов и складировать в заброшенных шахтах, но при этом возникает новый вопрос, соразмерна ли долговечность пленки микрофильмов, на которой сняты документы, тому сроку, в течение которого можно было бы рассчитывать на исторический интерес к этим данным. Периоды времени, на которые нацелена наша современность с целью традировать данные о себе будущему, расширяются, и в соответствии с этим в растущем числе секторов, где формирование архивной традиции организовано перцептивно, все бóльшую значимость приобретает вопрос о долговечности носителей данных. Магнитофонные архивы, которые в связи с ростом культурного значения электронных средств массовой информации, в свою очередь, быстро приобретают значимость, как известно, крайне подвержены старению, и их информационный контент с течением времени под воздействием космического излучения неудержимо превращается в шум. К счастью, бумага долговечна — кроме продукта прогрессирующего производства бумаги во второй половине XIX в., который из-за содержащейся в нем кислоты в исторической перспективе превратит чрезвычайно важные части наших библиотек в бумажную пыль. Соответственно в противоположном направлении стремительно развивается искусство консервирования материалов носителей информации и еще более стремительно растут расходы на широкое использование этих методов консервации. Даже в материальном отношении деятельность исторического сознания по актуализации и консервации прошлого тем самым как будто подчиняется закону убывающей предельной полезности этой деятельности.

Познакомившись с растущими трудностями формирования архивной традиции, описанными в ряде глав этой книги, посвященных архивному делу, роли статистики или библиотечному делу, и проанализированными в отношении их содержания, интересного в плане теории времени, читатель, конечно, может впасть в культурный критицизм и оплакивать цивилизацию, которая производит для традирования знаний больше, чем когда-либо, материала, способного представлять интерес для будущего исторического сознания, что, тем самым, мешает нашей цивилизации культурно интегрироваться в адекватное ей самой историческое сознание. Данный культур-критический импульс понятен. Но продуктивным он не является, поскольку не позволяет сказать, что нужно сделать, чтобы избавить нашу историческую культуру от проблем, связанных с давлением массы документации, порожденной информационной динамикой модерна. Здесь ситуация напоминает давно уже актуальную критику бюрократии. Критика эта очень популярна. Но, будучи бессильной, она является не более чем выражением неудовольствия по поводу неизбежных побочных последствий, возникающих в ходе удовлетворения тех запросов, которые возникают в нашем обществе модерна и адресуются нашей бюрократии. Модернизация означает, что мы опосредованно все больше становимся зависимыми от крайне далеких от социальной сферы вещей — начиная с заботы о материальном существовании, обеспечения социальной безопасности и кон-

чая умножением и расширением наших политических и прочих возможностей участия в принятии решений. Соответствующие посреднические функции реализуются в выходящих за пределы общества и одновременно интегрирующих общество институтах — начиная с рынков, транспортных учреждений и кончая учебными заведениями; сюда относится бюрократия включая супербюрократию государственного управления. Можно ли сказать, что эти виды бюрократии буйно разрастаются? Ведь хочется так выразиться, когда знакомишься со статистическими данными о росте числа управленцев. Вместе с тем метафоры разрастания, на которые провоцируют и забавные социологические описания Паркинсона, отвлекают от неизбежного процесса, состоящего в том, что в цивилизации модерна наши индивидуальные и коллективные экзистенции представлены в документах, количество и объем которых драматически возрастают. Число административных учреждений должно, по идее, умножаться параллельно с развитием жизненных функций, которые дифференцируются в ходе нашей цивилизационной эволюции и для реализации которых мы пользуемся услугами государственной службы — начиная со строительства дорог, санитарного контроля питьевой воды до обеспечения налоговых вычетов для оплаты издержек в интересах охраны исторических памятников и от издания распоряжения о стаже, релевантном в отношении размера пенсии, до судебно-административной проверки этого решения. Но еще быстрее, чем число этих функционально определенных сервисов административного аппарата, с неизбежностью растет множество перекрестных связей между ними. В общем, это означает следующее: несравнимо быстрее, чем число элементов растущей системы, растет множество возможных связей между ними, и знания арифметики в пределах средней школы достаточно, чтобы понять, что названный последним рост есть квадрат первого. Модерновые общества интегрированы посредством коммуникации — правда, не в экзистенциально-эмпатическом смысле Ясперса, но в техническом смысле обмена информацией между индивидуальными и институциональными частями этого общества. Поэтому множество коммуникативных отношений, которые конденсируются в документопроизводстве или в прочих документах, растет несравнимо быстрее, чем сложность общества, т.е. чем число интегрированных в нем частей. По той же причине доля старых данных в обществах модерна, которая доступна традированию как источник для будущих исторических исследований будущего, должна в сумме продолжать сокращаться по отношению к общему объему этих данных.

Но в наших библиотеках, по крайней мере, в научных, как уверяют наши библиотечные работники, «целью является ...всеобъемлющее собрание духовного богатства современности...». Перед лицом информационной динамики цивилизации модерна, которая также осаждается в книжном производстве, это является амбициозной целью, ведь, согласно статистике ООН, считается, что «каждые 20 лет» будет происходить «удвоение фондов университетских библиотек». Одно решение проблемы, как при таких темпах роста фондов наших библиотек полностью традировать потомкам относящийся к данному времени объем информации, отказавшись при этом от практики «отбора документов

для уничтожения» — т.е. уничтожения старых данных по методу архивистов, — вытекает из последствий быстро сокращающегося периода обесценивающего полураспада научной литературы. Как ничто другое прогресс научного познания ускоряет процесс сокращения настоящего. Чем быстрее растет наше знание о том, что случилось, что имеет место, и чем быстрее теории, в которые перерабатывается это знание, обгоняют и превосходят другие теории, тем скорее сокращается хронологический период времени, в котором данные теории утверждают свою неограниченную ценность. Благодаря прогрессу сокращается и период современности, доступный научно-историческому пониманию. Здесь также скорость устаревания относится к скорости обновления комплементарно, и по мере роста динамики прогресса уже устаревшее в хронологическом смысле становится все моложе. Из библиотечной практики известно, что это выражается в быстро уменьшающейся частоте востребования фондов тех книг и журналов, которые считаются уже устаревшими. В конце 1950-х годов один британский специалист по библиотечному делу установил, что три четверти фонда британских научных журналов используются настолько мало, что достаточно единственного экземпляра из этих наличных фондов, чтобы удовлетворить общий спрос на них путем пересылки читателям в Великобритании. Между тем линия разлома между актуальным и устарелым подошла гораздо ближе к современности. В практическом отношении предлагается сепарация актуального и устаревшего на основе техники передачи архивной традиции. Это означало бы следующее. Не всякая библиотека, являясь хранилищем литературных документов более ранних стадий развития научного знания, представляет еще — помимо его актуального состояния (как оно уже зафиксировалось в печатных изданиях) — одновременно историю происхождения этого знания. Устаревшую же литературу, полезную только в качестве источника для исторических исследований, сосредоточивают в так называемых библиотеках-книгохранилищах, причем в соответствии с установленной частотой использования фонда старых книг одного такого хранилища вполне достаточно в сочетании со множеством обычных библиотек, хранящих актуальную литературу для читательского доступа. Эти библиотеки, в свою очередь, могут избавляться от устаревшей научной печатной продукции и освобождать место для быстро растущей массы новых поступлений.

Понятно, что давно намеченная и возведенная в ранг программы библиотечная политика сепарации актуального и устаревшего воспринимается как варварская с позиции того исторического чувства, которое давно привыкло к нераздельному библиотечному единству исторического и современного. Но перед лицом фактов мы вынуждены назвать это чувство убегающей от современности ностальгией. А в ней недооцениваются причины, которые за пределами нечетких границ, с учетом возрастающей быстроты устаревания имеющейся культурной информации попросту вынуждают разделять актуальное и устаревшее. Соображения, связанные с местом, а значит, в самом широком смысле, с расходами, являются только частью этих причин. Еще важнее тот факт, что с ростом скорости культурной эволюции снижается протяженность истории нашего происхождения, которую мы — вне профессионально исторического

обращения к ней — можем интегрировать в нашу ориентацию на современность. Поясним это на примере: когда возрастает скорость прохождения законопроектами стадий законодательной процедуры — и это неизбежно, — вынужденно снижается значение общих историко-правовых знаний, которое юристы приобретают во время обучения или в процессе профессиональной деятельности наряду с необходимыми актуальными знаниями. Но это вовсе не означает, что в модерновой научной практике историческое знание зачахло. Напротив, как никогда прежде оно институционально дифференцируется и профессионализируется, а в благоприятных случаях популяризируется, например, в виде общеобразовательных лекций Studium Generale*, и доходит до тех студентов, чей учебный план давно очищен от обязательных историко-правовых дисциплин. Инкриминированное библиотечно-техническое разделение актуального и устаревшего, которое в газетных разделах с подозрением расценивается как вклад в ликвидацию научно-исторической культуры, на самом деле представляет собой продолжение этой культуры в рамках институционального и дисциплинарного обособления.

Темпоральное сгущение инноваций можно, разумеется, наблюдать и на примере технической эволюции. Даже тот, кто, будучи любителем истории, занимается историей техники лишь спорадически, знаком с хронологическими шкалами с указанием дат технических изобретений, которые эпохально группируются в целые партии, а при макроисторическом рассмотрении наглядно демонстрируют непрерывность прогресса. Нет нужды еще раз приводить здесь пример эффекта сокращения настоящего, который порождается не только научной, но и технической эволюцией. Временны́е и культурные последствия технической эволюции в сфере темпоральной культуры выходят далеко за пределы простой комплементарной взаимосвязи скорости инноваций и быстроты устаревания. В истории экономики доказано, что вместе со сгущением инноваций, характерным для ранней истории техники, сроки между научно-техническими инновациями, с одной стороны, и их экономическим использованием — с другой, сокращаются. Технические инновации новейшего времени при их экономическом использовании направлены в основном на повышение производительности, т.е. на увеличение скорости производства или количества товаров, производимых в единицу времени. Эти выигрыши в использовании времени, являющиеся результатом технического прогресса, вместе с тем приводят по экономическим причинам к необходимости широкого участия в этом прогрессе. Уже в XIX в. можно было наблюдать, что конкурентные отношения вынуждают предпринимателей заменять обрабатывающие станки более совершенными станками, причем задолго до того, как старые машины в ходе использования были бы полностью изношены. Вместе с повышением производительности технически оснащенного труда, а также вместе с растущей степенью дифференцированности продукции расширялись рынки, а значит, увеличивались расстояния, на которые нужно было перевозить массы товаров. Это не было бы

* В немецких университетах лекции по философии, общественным и другим наукам, рекомендуемые студентам всех факультетов для расширения кругозора.

возможно без насыщения транспорта техникой. Подобная технизация способствовала тому повышению скорости транспортирования, без которого нельзя было бы компенсировать быстро растущие пространственные расстояния массовой перевозки товаров и людей. Теперь можно было координировать во времени действия людей и институтов на все больших расстояниях. Это вызвало необходимость стандартизации времени, и фактически лишь благодаря железнодорожному транспорту, который хотя бы уже по техническим причинам зависит от тщательно составленных планов использования времени, возникла необходимость внедрения технически контролируемого единого времени в федеральных землях. Это не могло не отразиться на культуре обращения со временем. Добродетель пунктуальности, позволяющая человеку с точностью до минут согласовывать свои действия с действиями другого человека, находящегося на удалении, только теперь становится добродетелью, отсутствие которой может приводить к исключению из социальной кооперации. Часы становятся общеупотребительным предметом. Они являются общераспространенным культурным символом темпоральной дисциплины, которой мы подчиняемся в цивилизации модерна. Норберт Элиас описал эту темпоральную дисциплину, отнеся ее к тончайшим следствиям процесса цивилизации.

Но в нашей сложной цивилизации наряду с ростом социального масштаба наших действий, нуждающихся в темпоральной координации, увеличивается промежуток времени, на который они распространяются в направлении будущего. Временной горизонт будущего, актуализируемого с помощью методов планирования, расширяется. Календарь-ежедневник как план использования личного времени становится общеупотребительным предметом. Уже давно ушли в прошлое времена, когда было достаточно для записи встреч и планирования деятельности иметь при себе календарь на один год. Уже давно вошел в обиход двухгодичный календарь, а предприятия планового хозяйства стали предлагать своим коллегам по бизнесу в качестве подарка на Рождество календари с возможностями записей на «long-range planning up to the year 2010»*.

Популярная критика культуры стремится выяснить, не носят ли характера экспроприации времени намеченные здесь и подробно рассмотренные в дальнейших главах этой книги культурные последствия обращения со временем в нашей цивилизационной эволюции. Утрата «личного времени» тематизируется в культурно-критически настроенной социологической литературе. Церковные конференции призывают к повороту в обращении со временем и настаивают на возврате экспроприированного времени.

Однако специфические для нашей цивилизации возможности использования времени, а с ними и усиливающиеся императивы использования времени (Zeitnutzungszwänge), равно как и требуемые от нас добродетели более жесткой темпоральной дисциплины — лишь одна сторона проблемы. При этом вызванный совершенствованием техники рост производительности, т.е. рост производства продукции в единицу времени, в слишком быстро растущих долях, приводит не к увеличению заработных плат, а к освобождению времени

* Планирование на большие периоды времени вплоть до 2010 г. (*англ.*).

от профессиональной деятельности. Доля жизненного времени, в котором ничего не происходит, а если происходит — то по своей воле, достигла размера, к которому не подходит старое привычное понятие досуга. Мы впадали бы в весьма мрачное состояние духа, если бы стремились посвятить досугу преобладающую часть освобожденного от профессиональной деятельности и в этом смысле ставшего свободным для нас жизненного времени. Проблема состоит в том, чтобы из свободы, в виде выпавшего нам выигрыша свободного жизненного времени, генерировать смысл, смысл жизни, а именно посредством самоопределения приходить к осмысленному действию. В общем, можно сказать, что реакция нашего цивилизационного сообщества на вызовы исторически беспримерного прироста освобожденного от профессиональной деятельности жизненного времени оказалась весьма творческой. Вместо того чтобы лишить нас нашего «личного времени», цивилизация модерна сделала нас суверенными в отношении времени. Изложение последствий этого можно было бы поместить под красивым заголовком «Цвет культуры повседневности» — от многообразных форм суверенной по отношению к медиа культуры чтения через возрождение домашнего музицирования или садоводческой культуры вплоть до продуктивного использования профессиональных компетенций в контексте так называемой теневой экономики.

Существует и обратная сторона подобного прекрасного состояния культуры повседневности. Сюда относятся психологические и социальные последствия распространенной неспособности к самоопределению, когда индивид, вместо того чтобы развиваться, становится для себя величайшей проблемой и ощущает себя жертвой модерновых жизненных отношений. И тут остается спросить, от чего в самом деле зависит способность или неспособность человека к самоопределению, требуемому от нас как никогда прежде темпоральной структурой культуры модерна. К факторам нашей способности к самоопределению относится не в последнюю очередь полученная благодаря воспитанию способность ориентации на добродетели, в том числе второстепенные добродетели обращения со временем — от пунктуальности до упорядоченности в темпоральной организации жизни. Ведь эти добродетели обращения со временем вовсе не действуют, как говорилось в инсинуациях на упомянутой церковной конференции, как генераторы стресса, уменьшающие жизненное счастье.

Напротив, они являются темпорально-специфическими средствами избегания стресса. Резюмируя, можно сказать, что описанный недостаток времени, характерный для модернизации, дополняет высвобождение жизненного времени, разгруженного от насущных забот. Возникает как никогда много пространств свободного действия, и в ходе использования различных компетенций самоопределения — неравномерно распределенных в социальном отношении и лишь в крайне узких границах уравненных социальной и культурной политикой — происходит все большая дифференциация культур повседневности, включая сам уровень культуры, доступный для индивидов. При этом культура повседневности одновременно связана обратной связью с описанными вначале тенденциями самоисторизации нашей цивилизации. В большинстве случаев музеи являются общественными учреждениями, охрана памятников — частью

государственной культурно-политической программы, то же самое верно и для разнообразных видов деятельности в области транспортно-технического и градостроительного воссоздания, не говоря уже об охране природы. Но свою политическую легитимацию эта практика государственной компенсаторной консервации культурных и природных миров, из которых мы родом, находит в повседневной практике миллионов людей, которые стоят в очередях на музейные выставки, протестуют против сноса старых и даже не очень старых построек, вновь придают естественный вид своим чрезмерно культивированным садам и таким образом вносят смысл в свободу своего темпорального самоопределения.

Если припомнить описанные состояния и процессы развития культуры, то становится понятным, что некоторое интеллектуальное сомнение в ускоряющемся характере нашей цивилизационной эволюции базируется на недостатках восприятия, а если поточнее — на трудностях в теоретическом сочетании якобы противоречащих друг другу явлений. Правда, что литературное выражение впечатления, что «все движется все быстрее!», которое мы можем найти у наших постмодернистских дромологов*, в первую очередь провоцирует не столько просвещенное одобрение, сколько поиск противоположных примеров, а таких имеется множество. Существует авангардистское предпочтение нового, но наблюдается и растущая тяга людей к классике — культурному багажу, для которого характерна бóльшая сопротивляемость устареванию. Имеет место так называемая переоценка ценностей, и в ходе этой переоценки значимы жизненные ориентации, исходя из которых безусловно привлекательно все новое и модерновое. Это относится, например, к «самореализации». Если приглядеться, то можно обнаружить, что, с одной стороны, благодаря темпоральной структуре современной культуры от нас действительно требуются способности независимо трансформировать свободу в смысл («самореализация»). Однако, с другой стороны, именно эти способности укоренены в очень старых и все же не устаревших, а именно классических добродетелях — от первичной добродетели умеренности до второстепенной добродетели дисциплины, в особенности в специфически модерновых взаимосвязях социально весьма обширной коммуникации и кооперации. Как правило, вместе с динамикой цивилизации модерна становится еще навязчивее то, что в ее эволюции непосредственно не принимает участие. Одна сторона дела не опровергает другую, но относится к ней комплементарно. Стоит вспомнить метафору о потоке истории в ее актуализированной интерпретации. В отличие от реальных потоков, которые дарят нам метафору о потоке истории, с расстоянием от источника скорость течения не падает, а возрастает, и вместе с этим снижается ламинарность, т.е. равнонаправленность течения. Скорости поступательного движения дифференцируются. Возникают водовороты, где нет движения вперед, а только вращение на месте, в омутах вообще все стоит недвижно, и здесь развивается и преуспевает то, что может развиваться и преуспевать только в состоянии покоя.

* Дромология — учение о скорости (*греч.*). Характерный представитель этого направления — французский философ Поль Вирилио.

В такой перспективе описания и анализ в этой книге можно прочитывать как примеры эволюционной структуры цивилизационного процесса. При этом культурная эволюция по своей структуре ничем не отличается от природной. Однако обе различаются способом межпоколенческого информационного трансфера, который в каждом случае имеет свои особенности. В биологической эволюции этот трансфер осуществляется на генетическом уровне, в культурной же эволюции, напротив, на уровне языковом, символическом. Именно с этим языковым символическим модусом решающим образом связана скорость культурных эволюционных процессов, предельно возросшая по сравнению с эволюцией биологической. Историки, занимающиеся историей первобытного общества и ранней историей, выдвинули предположение, что в рамках культурных процессов их ускорение опять-таки относится к культурно-эволюционным константам. Возможно, это так, возможно, иначе: скорость, которой сегодня достиг ускоряющийся цивилизационный процесс, доставляет нам много хлопот. По-видимому, существуют пределы как индивидуальных, так и институциональных способностей переработки инноваций. Описанные в данной книге трудности, связанные с культурной организацией памяти, подтверждают это. В общем, представляется, что межпоколенческий информационный трансфер вообще находится под угрозой — даже если оставить в стороне неопределенные границы скорости культурной эволюции. Культурные ориентации двух или трех поколений, живущих вместе в малом социальном союзе модерновой семьи, расходятся в стороны. Процессы взросления, как и процессы старения, приобретают критические черты, когда множество культурных запасов, обладавших неизменной значимостью на протяжении краткого периода средней человеческой жизни, тают в результате дезориентации.

Возникает совершенно новое опасение, что главной проблемой нашей цивилизации может стать ее эволюционная тахителия*. В одном из мифов модерна утверждается, что в начале строительства железных дорог мчащиеся поезда порождали страх перед скоростью. В целом, однако, считается, что динамика цивилизации модерна в начальные периоды своей тематизации вызывала преимущественно одобрительную реакцию. Встречается мания скорости, даже эстетически культивированная страсть к ней — например, история музыки свидетельствует, что в XIX в. контраст темпов использовался как средство драматизации. Предписания темпов исполнения, чего прежде не было, становятся теперь неотъемлемой частью композиторской техники — вплоть до указаний о нарастании темпа, доходящих до абсурда. Соль-минорная фортепианная соната Роберта Шумана (оп. 22) — ярчайший пример этого. В самом начале предписывается играть «Скоро, как только возможно», а через несколько тактов следует требование — «Еще быстрее».

А между тем наш модерновый опыт восприятия времени как опыт ускорения сделался главным содержанием наших цивилизационных опасений. Ведь каждый потребитель продукции СМИ видел те кривые на графиках, которые наглядно представляют экспоненциальный характер протекания процессов

* В биологии — очень быстрый темп эволюции некоторых организмов.

эволюции, в которые мы оказались вплетены. «Так дальше не может продолжаться», — гласит по этому поводу банально меткий комментарий common sense. Но это мало что дает для ответа на вопрос, как — ради сохранения и поддержания системы — переориентировать и взять под контроль эти экспоненциальные процессы. Однако ответ на этот вопрос нам обычно также известен, и это, в свою очередь, должно усиливать тенденции к эмоциональному самодистанцированию наших современников от своих цивилизационных жизненных основ. Угрозы культурно-эволюционной тахителии ощущаются повсюду, и искусство не остается в стороне. На выставке современного искусства в Базеле демонстрировалась так называемая экспоненциальная лестница, которая после спокойного подъема стремительно взлетала отвесно вверх, делая дальнейшее восхождение чреватым гибелью.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПО ТЕОРИИ ВРЕМЕНИ

Литературу, которую библиографы собирают по любым, даже весьма специфическим научным темам и которая доступна для тех, кто занимается исследованиями на эти темы, теперь привычно называть «необозримой». В случае большой темы «время» даже небольшие библиографические указатели[1] сразу же подтверждают тот факт, что детальное ознакомление с литературой по этой тематике было бы невозможно. Нет нужды демонстрировать это, сравнивая краткость среднего срока жизненной работы ученого с тем временем, которое потребовалось бы для этого ознакомления даже при высокой скорости чтения, если ошибочно рассматривать специальные библиографии как нормативный объем обязательной для прочтения литературы.

Однако из взрывного увеличения литературы по этой теме не следует делать вывод об исключительной актуальности темы «время». Экспоненциальный рост литературы можно ведь наблюдать во всех областях литературного производства, как будто он соответствует определенной закономерности. Это относится и к научной литературе, и даже вопросы, которые с точки зрения исследовательской практики давно считаются бесспорно устаревшими, продолжают сегодня стимулировать появление новой литературы, а именно литературы в исследовательской области нашей цветущей историографии науки, которая в преломлении исторического сознания даже устаревшее воспринимает как все еще современное.

И в случае философии не так-то просто обратиться к специфически актуальной для современности теме времени. Даже в названии работы, которую следовало бы отнести к одной из самых влиятельных философских книг этого столетия, а именно в книге Хайдеггера «Бытие и время»[2], «время» тематизировано наряду со вторым важным понятием. С другой стороны, каким бы оглушительным ни был успех этой книги в свое время[3], эта знаменитая работа скудна в части описания и анализа присутствия времени в жизненно-практическом и специфическом для современной культуры обращения с ним. Да и профессиональные философы достаточно информированы, а потому, вникая в феноменологию субъективного восприятия времени, обращаются не к «Бытию и вре-

[1] Обширную библиографию литературы по теории времени см. в: *Fraser J.T., Lawrence N., Park D.* (eds). The Study of Time IV. A Report on the Literature of Time, 1900–1980. New York; Heidelberg; Berlin, 1981. P. 243–269.

[2] *Heidegger M.* Sein und Zeit. Erste Hälfte. Sonderdruck // Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung / E. Husserl (Hrsg.). Bd. VII. Freiburg i. Br.; Halle a.d.S., 1927. Рус. пер.: *Хайдеггер М.* Бытие и время / пер. с нем. и примеч. В.В. Бибихина. 2-е изд., испр. СПб.: Наука, 2002.

[3] *Sass H.-M.* Martin Heidegger: Bibliography and Glossary. Bowling Green (Ohio): Philosophy Documentation Center, 1982.

мени» Хайдеггера, а к актуальным работам по исследованию времени наших психологов, психиатров и социологов. «Время», безусловно, является темой с традиционной философской пропиской. Но это одновременно и тема, которую с точки зрения истории науки каждая дисциплина, обособившаяся от философии, рассматривает и разрабатывает как тему собственной профессиональной юрисдикции.

Именно в этом кроется важнейшая причина библиографической необозримости литературы о времени. Кто бы, с каким бы особым интересом ни пытался обратиться к этому предмету, используя обычные средства поиска по ключевому слову «время», — тот скоро убедился бы в том, что едва ли существует институционально специализированная научная дисциплина — от теоретической физики до физической химии, от космологии до молекулярной биологии, от палеонтологии до геологии, от первобытной истории и ранней истории до теории исторической науки, от этнологии до лингвистики, — в которой не ведутся исследования с привлечением теории времени. Это, безусловно, справедливо и для трех названных наук о действии[4] — психологии, психиатрии и социологии. А вот по сравнению с множеством того, что имеется в области литературы по узкоспециальной теории времени, количество работ, вышедших из-под пера философов, которые из своенравия своей академической дисциплины обязаны считаться профессиональными философами, выглядит скорее скромно.

Тем не менее можно утверждать, что несмотря на крайне узкоспециальный интерес к теме «время», она явно сохранила качество философской привлекательности. Нет такой специализированной дисциплины, которая бы могла претендовать на исключительную дисциплинарную монополию в отношении этой темы. Тема «время» междисциплинарно распылена как никакая другая и, соответственно, относится к стандартным темам так называемых междисциплинарных исследований. То, чем являются эти исследования в методическом и прагматическом плане, само стало темой междисциплинарных исследований[5]. При рассмотрении проблемы времени можно точно сказать, в чем до сих пор преимущественно заключается междисциплинарность ее исследования: по теме «время» организуются коллоквиумы или даже конференции с докладчиками, представляющими все мыслимые дисциплины, которые занимаются (как основной или побочной темой) исследованиями в области теории времени. После этого прочитанные доклады или присланные материалы собираются в сборник

[4] По выражению Хельмута Шельски: *Schelsky H.* Einsamkeit und Freiheit. Idee und Gestalt der deutschen Universität und ihrer Reformen. Reinbek bei Hamburg, 1963. S. 282.

[5] Все важные методические и организационные аспекты так называемых междисциплинарных исследований рассматриваются Юргеном Кока в: *Kocka J.* (Hrsg.). Interdisziplinarität. Praxis — Herausforderung — Ideologie. Frankfurt am Main, 1987. В этом сборнике собраны, согласно междисциплинарному принципу, работы для симпозиума об «Идеологии и практике интердисциплинарности. Концепция Шельски и что из нее вышло», состоявшегося в связи с 20-летием Центра междисциплинарных исследований в Университете Билефельда, основанного по инициативе Хельмута Шельски.

и печатаются. Существенная часть актуальной литературы по теории времени носит такой характер сборников материалов симпозиумов, собранных по данному междисциплинарному принципу[6]. Требование междисциплинарности в таких случаях выполняется в первую очередь посредством синтеза книжного переплета, создающего искомое единство. Сложности, которые возникают при попытках выявить для темы «время» нетривиальные аспекты единства, пересекающие границы дисциплин, впечатляющим образом заявляют о себе, когда соответствующим сборникам даже не предпосылается введение издателя[7]. В других случаях все же регулярно появляются «послесловия», которые скромно выдают себя за «попытку интеграции»[8]. Названия данных хрестоматий говорят также о неспособности выявить единство предмета каким-нибудь другим способом, без обращения ко всем известному слову «время»[9]. Тот, кто возвещает в названии книги о «понятиях времени»[10], в качестве результата междисциплинарной кооперации обещает предоставить категориальную дифференциацию. Но в этом случае тем более впечатляющим становится именно тот факт, что единство того, что должно быть продемонстрировано в дифференцированности его аспектов, присутствует только в единстве одного слова. Лишь там, где симпозиумы тематически не переступают границ, пролегающих в отношении исследовательской практики и в литературном плане между «двумя культурами»[11], названия сборников становятся более ясными или специальными[12]. Философы охотно обращаются, главным образом, не к предметной

[6] Небольшое количество сборников статей или докладов по теме «время» цитируются, например, в: *Meyer R.* (Hrsg.). Das Zeitproblem im 20. Jahrhundert. Ringvorlesung Universität Zürich. Bern; München, 1964; Zeit und Zeitlosigkeit. Eranos-Tagung. Frankfurt am Main, 1981; *Horvart M.* (Hrsg.). Das Phänomen Zeit. Symposion der Technischen Universität Wien. Wien, 1984; *Petri H.* (Hrsg.). Geht uns die Zeit verloren? Beiträge zum Zeitbewußtsein. Tagung der Studiengesellschaft für praktische Psychologie. Bochum, 1985; *Zoll R.* (Hrsg.). Zerstörung und Wiederaneignung von Zeit. Frankfurt am Main, 1988.

[7] Это относится к сборнику: *Heinemann G.* (Hrsg.). Zeitbegriffe. Ergebnisse des interdisziplinären Symposiums "Zeitbegriff der Naturwissenschaften, Zeiterfahrung und Zeitbewußtsein". Freiburg; München, 1986 (Kassel, 1983).

[8] См. посвященные данному вопросу статьи Эдгара Люшера: *Lüscher E.* Zusammenfassende Bemerkungen zur physikalischen Zeitdefinition, а также Эрнста Пёппеля: *Pöppel E.* Erlebte Zeit und die Zeit überhaupt: Ein Versuch der Integration // Peisl A., Mohler A. (Hrsg.). Die Zeit. München; Wien, 1983. S. 365, 369–382.

[9] См. сборник, упомянутый в примеч. 8.

[10] См. сборник, упомянутый в примеч. 7.

[11] Таково постоянно цитируемое название ставшей весьма популярной книги Чарльза Перси Сноу: *Snow C.P.* Die zwei Kulturen. Literarische und naturwissenschaftliche Intelligenz. Stuttgart, 1967. Впервые прочитана в 1959 г. как «Rede-Lecture». Рус. пер.: *Сноу Ч.П.* Две культуры и научная революция // Сноу Ч.П. Портреты и размышления. М., 1985. С. 195–226.

[12] Вот пример: *Fürstenberg F.*, *Mörth I.* (Hrsg.). Zeit als Strukturelement von Lebenswelt und Gesellschaft. Linz, 1986; или в основном ориентированная на естественные науки книга: *Whitrow G.J.* The Natural Philosophy of Time. 2nd ed. Oxford, 1984. Рус. пер.: *Уитроу Дж.* Естественная философия времени / пер. с англ., общ. ред. М.Э. Омельяновского. М.: Едиториал УРСС, 2003.

теме, а к истории занятия этой предметной темой: и вместо «исследований проблемы времени» предлагаются исторические штудии о более старых или более новых исследованиях проблемы времени[13].

Специфический характер той междисциплинарности, под флагом которой проводятся упомянутые коллоквиумы и симпозиумы с их материалами, можно охарактеризовать как междисциплинарность типа Studium Generale. Все это знакомо по общеобразовательным циклам лекций в наших вузах: берется какое-либо ключевое слово, которое, обладая семантической привлекательностью, предлагает актуальную или даже важную во все времена тему, и объявляется в качестве названия общественной лекции. При этом регулярно подтверждается тот факт, что едва ли найдется какая-нибудь дисциплина, которая по данному ключевому слову не способна была бы сообщить нечто свое. «Смерть», к примеру, дает возможность прочитать доклад о статистике причин смерти, включая ее разнообразные исторические и региональные аспекты, а также сделать сообщение о юридической стороне фиксации момента смерти, а за лекцией об иконографии смерти может следовать доклад эксперта об актуальных проблемах погребального дела, включая его подоплеку, рассмотренную с точки зрения истории ментальностей. В отличие от этого «вода» как тема лекций Studium Generale обладает менее выраженными экспрессивными качествами. Но специалист по сточным водам сумеет представить в этом случае аспекты соответствующих опасностей, всегда приковывающих внимание, а потрясение от того, что происходит в настоящее время с одним из наших жизненных элементов (вплоть до экскурсов в область химии грунтовых вод), сохранится еще дольше на фоне доклада историка религии о роли воды в ритуалах очищения и окропления для передачи благословения и благодати. Аналогично, к примеру, могут предлагаться доклады на тему «безопасность» в рамках Studium Generale, содержание которых простирается от культурной истории замков до проблем актуальных реформ систем социального страхования, или на тему «миграция», где появляется возможность соединять несопоставимые вещи от великого переселения народов, послевоенной политики изгнания в отношении немцев до статуса гастарбайтеров в пределах ЕС.

Нить, связывающая подобные разрозненные информационные сообщения, есть только нить ассоциации, которая рождается благодаря какому-то ключевому слову, использующемуся вне контекста, а потому остающемуся семантически диффузным. Слово «время» вполне подходит на роль возбудителя ассоциаций такого рода, постоянно выступая стимулом к организации циклов лекций, в которых об искусстве включения времени в художественное полотно говорится столько же, сколько о календарных реформах или о кибернетике физиологических ритмов.

Польза в ориентации, которая извлекается из подобных крайне случайных наборов информации, что было характерно для ранней истории междисциплинарных исследований (Studium Generale), с необходимостью ничтожна. Тем не

[13] См., например, сборник: *Orth E.W.* (Hrsg.). Studien zum Zeitproblem in der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Freiburg; München, 1982.

менее люди уверены в том, что в теме «время», а тем более в самом времени тесно связаны крайне разнородные области реальности, причем такая ситуация возникает не из-за случайного характера семантического разброса других подобных ключевых слов Studium Generale. Уже цитированное знаменитое название «Бытие и время» непревзойденным образом выразило онтологическую универсальность аспекта темпоральности, и притязание данного названия сохраняет свою авторитетность, даже если Мартин Хайдеггер ограничивается преимущественно феноменологическим анализом субъективного опыта переживания времени, и прежде всего собственного опыта Dasein как «бытия к смерти». С тех пор феноменологи — как и философы, которые и сегодня еще пребывают под впечатлением от анализа времени у Бергсона, — склонны пренебрегать временем, рассматриваемым как измеряемое время физических, биологических и социальных процессов, более того, под влиянием культурно- и научно-критических инсинуаций Хайдеггера называют его «вульгарным» или препоручают его теоретикам науки в качестве специального объекта, не представляющего общего интереса. В самом деле, жизненно-практическое обращение со временем, забота о времени (Zeit-Besorgung) в горизонтах будущего, ограниченного смертью, кажется абсолютно несопоставимым с измеренными временны́ми горизонтами палеонтологии, геологии или даже космологии.

Но видимость отсутствия связи здесь только кажущаяся. Мировой успех, который имела научно-публицистическая книга Хокинга «Краткая история времени»[14], можно объяснить только тем обстоятельством, что в ней интерес к колоссальным эпохам космической динамики, превышающим масштабы человеческой жизни, был возвышен до экзистенциального интереса субъективности, которой угрожает смерть. Философия, которая в данном случае связывает жизненное время и мировое время в плане интересов, может быть и плохой философией. Что же касается взыскательного философского осмысления разнообразных воздействий, которые исходят от научно- и культурно-исторического опыта прогрессирующего расхождения между «мировым временем» и «жизненным временем», то она уже давно представлена в большой книге Ханса Блюменберга[15], в названии которой фигурируют эти понятия. В книге особенно впечатляет опровержение мнимой иррелевантности объективных структур темпоральности для строения субъективного опыта переживания времени.

До этого Пиаже, двигаясь иным образом и направляя острие своей критики в адрес Бергсона, в своих знаменитых исследованиях развития ориентации ребенка во времени[16] уже показал, что ориентирование во времени консти-

[14] *Hawking S.W.* Eine kurze Geschichte der Zeit. Die Suche nach der Urkraft des Universums / mit einer Einleitung von C. Sagan. Deutsch von H. Kober, unter fachlicher Beratung von Dr. B. Schmidt. Reinbeck bei Hamburg, 1988. (Оригинальное название: «A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes». 1988.) Рус. пер.: *Хокинг С.* Краткая история времени. От большого взрыва до черных дыр / пер. с англ. Н.Я. Смородинской. СПб., 2000.

[15] *Blumenberg H*. Lebenszeit und Weltzeit. Frankfurt am Main, 1986.

[16] *Piaget J*. Die Bildung des Zeitbegriffs beim Kinde. Frankfurt am Main, 1974 (первое издание на немецком языке французского оригинала 1955 г.).

туируется в процессе обучения прагматической способностью приспосабливаться к объективным структурам времени. Даже для темпоральной структуры историчности, которая, по Хайдеггеру и в соответствии со следующей ему вослед герменевтической теорией, порождается исключительно на основе конституирующего смысл отношения субъекта к себе, считается, что она в действительности является структурой всех открытых и динамичных систем, индифферентной к конкретной области. Природа и культура — и это вполне банально — не идентичны; но структура исторических процессов — а вот это уже не банально — ведет себя индифферентно по отношению к отличию историй природы, с одной стороны, от историй культуры — с другой[17].

Кроме того, постановка вопросов в эволюционной теории уже давно вышла за пределы одной дисциплины. Особенно важными при этом можно считать аспекты темпоральности эволюционных процессов. Например, то, что изменения информационного состояния, характеризующего идентичность той или иной биотической или культурной системы, при выходе за определенные границы скорости этих изменений могут привести к нарушению межпоколенческого трансфера информации, что, наоборот, слишком низкая изменчивость затрудняет приспособление этих систем к своему окружению и в конечном счете делает приспособление невозможным — все это эволюционные данности, которые связывают природу и культуру не только по аналогии, но и структурно идентично. То же самое, по-видимому, справедливо и для тех процессов самоподкрепления («усиления»), которые, если их динамика рано или поздно не тормозится противодействующими факторами, завершаются катастрофами, превращая порядок в хаос. В этих и других случаях так называемые «две культуры» связаны не тонкими нитями семантических ассоциаций, а прочной исследовательско-практической общностью тождественных постановок вопросов, и, уж конечно, давно существуют конференции по вопросам теории времени и публикации соответствующих материалов, которые представляют неконтингентную, а именно порожденную единством той или иной постановки вопроса междисциплинарность[18].

Обсуждение вопросов по теории времени стали между тем оказывать влияние на практику исследований, что делает не лишенным смысла появление букетов речей и статей, объединенных темой времени, которые на первый взгляд выглядят чересчур пестрыми. Настойчивая потребность в подобных букетах доказана недавней историей теории времени. Множество взглядов, выходящих за рамки той или иной дисциплины, способствует нахождению точек зрения, которые позволяют выявить то, что объединяет разнородное. На этом основана уникальная заслуга Фрезера, который своей конференцией по проблемам

[17] *Lübbe H.* Die Einheit von Naturgeschichte und Kulturgeschichte. Bemerkungen zum Geschichtsbegriff. Akademie der Wissenschaften und der Literatur zu Mainz. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Wiesbaden, 1981. Nr. 10.

[18] *Hierholzer K., Wittmann H.-G.* (Hrsg.). Phasensprünge und Stetigkeit in der natürlichen und kulturellen Welt. Wissenschaftskonferenz in Berlin 8.–10. Oktober 1987. Reichstagsgebäude. Stuttgart, 1988.

времени (1966) положил начало бесчисленным последующим конференциям. Между тем в «Международном обществе по изучению времени» (International Society for the Study of Time) этому типу междисциплинарной работы институционально обеспечили существование на длительную перспективу; и тома, в которых собраны материалы проделанной до сих пор работы, оказались необходимыми, чтобы ориентироваться в области исследований времени[19]. Единственный в немецком языковом пространстве внушительный том «Время и культура», вышедший из-под пера Рудольфа Вендорфа и обращенный к широкому кругу читателей, обеспечивает нечто похожее в сфере практической ориентации, причем одновременно в плане истории науки, техники и культуры[20]. Это означает, что и при обращении к теме «время» проблемы ориентирования возникают не из-за недостатка информации, а от ее избытка. Как следствие этого, получается, что сегодня важны не столько новые междисциплинарные сборники материалов, сколько постановки таких вопросов, которые упорядочивают материал, делают его менее сложным и позволяют выявлять индифферентные к конкретной дисциплинарной сфере структуры.

Прекрасным показателем главной трудности, с которой сталкивается современная междисциплинарная философия времени — а именно, необходимость упорядочения дезориентирующего избытка материала — является повторяющаяся в бесчисленных статьях по философии времени, в том числе у Хайдеггера и уже у Гуссерля, неизбежная как общее место отсылка к св. Августину, который в 11-й книге своей «Исповеди»* писал по смыслу следующее: для него нет никакой трудности в понимании того, что есть время, когда он не размышляет о нем, а просто действует и живет в нем. Трудности возникают только тогда, когда вопрос, что представляет собой время, ставится в явном виде, и нужно ответить на него эксплицитно. Здесь, в связи с тем, что это рассуждение носит характер топоса (общего места), нет необходимости цитировать это место буквально по тексту Августина. Смысл упомянутой рефлексии, как кажется, носит самоочевидный характер, и Ганс-Георг Гадамер пришел к выводу, что затруднение, с которым столкнулся Августин, «есть прототип всех подлинных философских трудностей»[21]. Разумеется, это относится и к философской постановке вопросов в контексте феноменологии, которая не в последнюю очередь занимается выявлением тех когнитивных и прагматических жизненных

[19] The Voices of Time. A Cooperative Survey of Man's Views of Time as Expressed by Sciences and by the Humanities. 2nd ed. / ed. with a new Introd. by J.T. Fraser. Amhurst, 1981.

[20] *Wendorff R.* Zeit und Kultur-Geschichte des Zeitbewußseins in Europa. 2. Aufl. Wiesbaden, 1980.

* Здесь и далее исправлено переводчиком, в оригинале указана 10-я книга.

[21] См. ссылку на 11-ю книгу «Исповеди» Августина в самом начале статьи Х.-Г. Гадамера: *Gadamer H.-G.* Über leere und erfüllte Zeit // Die Frage Martin Heideggers. Beiträge zu einem Kolloquium mit Heidegger aus Anlaß seines 80. Geburtstages von J. Beaufret, H.-G. Gadamer, K. Löwith, K.-H. Volkmann-Schluck. Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Jahrgang 1969. 4. Abhandlung. Vorgelegt von H.-G. Gadamer. Heidelberg, 1969. S. 17–35, S. 17.

реальностей, которые именно потому теоретически далеки от субъекта этих жизненных реальностей, что они слишком близки ему, причем знакомы как не нуждающиеся в рефлексии. Вместе с тем может осуществляться феноменологическое прояснение и описание субъективных отношений к реальности, которые в своей привычности в сфере жизненного мира и в своих нерефлексивно совершающихся действиях не привлекают нашего внимания, а заполняют фон нашего жизненного мира. Феноменология, повторим еще раз, как ни одна другая школа в философии, занялась этим, и работающие в горизонте феноменологической постановки вопроса психологические, психиатрические, а также социологические исследовательские направления получили, кроме того, возможность плодотворной деятельность в опытно-научном плане. Это относится и к теории времени, так что постоянная отсылка к рефлексии Августина относительно особой трудности при концептуализации времени не может приниматься всерьез. Трудность, которую, ссылаясь на св. Августина, так сказать, риторически возвышают до классической проблемы, представляется скорее затруднением, в котором оказываются, приближаясь к какой-либо большой теме с нечеткой постановкой вопроса. Ведь по причинам, не требующим объяснения, непросто дать ясный ответ на неясный вопрос, и без указания конкретного практического исследовательского или жизненного контекста, в рамках которого обращение со временем выполняет прагматически заданную функцию, вопрос Августина о том, что такое время, также является трудным вопросом, причем не из-за его глубины, а, напротив, из-за его неясности.

В противоположность этому настоящая книга, во всех ее частях, отличающихся тематическим разнообразием, руководствуется единственной постановкой вопроса. Речь идет о вопросе об обратном воздействии ускорения эволюционных процессов на системы, которые ему подвергаются. То, что у подобного ускорения должны существовать определенные пределы — тривиально. Нетривиальным является, к примеру, задача выявления проблем, которые вызваны последствиями того, что достигнуты пределы данных способностей переработки инноваций. Тривиально, что способности (Kapazitäten) для переработки эволюционных инноваций, необходимой для сохранения системы, не являются раз и навсегда зафиксированными способностями, что они, в свою очередь, подвержены эволюции. Нетривиально идентифицировать и анализировать, например, эволюционные процессы, которые можно трактовать только как процессы расширения способностей переработки результатов эволюции. И еще раз, тривиально, что и такие продуктивные реакции в конечном счете наталкиваются на пределы. Нетривиально, к примеру, описать эволюционные кризисы (которые можно рассматривать как кризисы безусловно превышенных пределов доступных возможностей), чтобы технически и организационно, с практически-повседневной точки зрения и с точки зрения культуры памяти справляться с процессами эволюционного ускорения. Во введении к этой книге можно найти это описание в виде краткого содержания. Главы книги, посвященные отдельным темам, раскрывают это подробно и представляют материалы для подтверждения.

Уже в моих более ранних работах имеются статьи, посвященные анализу культурных процессов, ускоряющихся в ходе эволюции. Это прежде всего относится к моей старой (ей уже больше 10 лет), книге «Понятие истории и интерес к истории»[22]. В первой, аналитической части этой книги преследовались научно-теоретические цели. Если сказать поподробнее, в ней разрабатывалась научная теория исторической науки и особое внимание уделялось описанию структуры историй как необратимых, непрогнозируемых, направленных, но не целенаправленных, контингентных процессов, чья структура, в отличие от природы, с одной стороны, и культуры — с другой, ведет себя принципиально индифферентно. Во второй, прагматической части книги речь шла о теории смысла жизни, а также политического смысла исторической культуры модерна и вместе с тем также об ответе на актуальный в свое время вопрос «Для чего нужна история?».

Все же в упомянутой книге по теории истории отсутствовало описание динамики актуальных культурных процессов, а также анализ последствий этой динамики, которые не столь красивы, как прелестные цветы нашей исторической культуры модерна[23]. Многообразные формы проявления перегрузки нашего чувства истории, практические последствия вызванного эволюционным темпом сокращения числа лет, в которые можно рассчитывать на сохранение постоянных жизненных отношений («сокращение настоящего») — это проблемы, чей культурный, социальный и политический вес стал для меня отчетливым лишь значительно позднее. Некоторые из этих проблем я затронул в форме эссе в моей небольшой книге «Отношения ко времени»[24] — от пределов существующих возможностей «футорологически» компенсировать обусловленную темпом эволюции скоротечность наших допущений относительно реальности, лежащих в основе наших решений и действий, вплоть до политических последствий уменьшения области действия common sense* в цивилизации, все больше попадающей под влияние естественных наук[25]. Недостаток этого эссе заключался не в недостаточной полноте материала, а напротив, в нехватке чисто

[22] *Lübbe H.* Geschichtsbegriff und Geschichtsinteresse. Analytik und Pragmatik der Historie. Basel; Stuttgart: Verlag Schwabe & Co, 1977.

[23] Детали из истории и современности модерной исторической культуры — от музеефикации до форм проявления нового политического историзма в актуальном европейском регионализме — я описал в нескольких главах моей книги «Настойчивость истории»: *Lübbe H.* Op. cit. (См. примеч. 2 на с. 3 наст. изд.)

[24] *Lübbe H.* Zeit-Verhältnisse. Zur Kulturphilosophie des Fortschritts. Graz; Wien; Köln, 1983. Главные тезисы этого большого эссе, которые названы в уточняющем подзаголовке «Об изменившейся современности будущего и прошлого», кратко изложены еще раз, в 10 раз короче, в небольшом эссе: *Lübbe H.* Zeit-Verhältnisse. Über die veränderte Gegenwart von Zukunft und Vergangenheit // Zeit-Verhältnisse. München, 1984. S. 27–36, которое с тех пор неоднократно переиздавалось.

* Здравый смысл (*англ.*).

[25] Более подробному освещению этой темы была позднее посвящена моя книга: *Lübbe H.* Der Lebenssinn der Industriegesellschaft. Die moralische Verfassung der technisch-industriellen Zivilisation. Berlin; Heidelberg; New York; London; Paris; Tokyo; Hong Kong, 1990.

эссеистической презентации этой полноты. Ведь философскую литературную форму эссе выбирают, помимо прочего, по двум противоположным причинам. Либо пытаются предложить публике вне собственного сообщества специалистов квинтэссенцию ученого труда или разработанной теории в краткой форме, либо предпринимают попытку с противоположным намерением, стремясь опробовать некую тему, чтобы в обозримый период предложить настоящую книгу, что поначалу кажется безнадежным делом. Так что эссе предлагает в этом случае не квинтэссенцию прошлой работы, а напротив, набросок того, что хотелось бы проработать. Этому желанию я и пытался пойти навстречу. Книга подхватывает опробованную в эссе тему культурных «отношений ко времени», излагает эту тему и подкрепляет ее центральные тезисы, относящиеся к теории культуры времени, подробными описаниями и анализом новых явлений.

1. ТРУДНОСТИ С ПАМЯТЬЮ. ОБ ОТНОШЕНИИ К ПРОШЛОМУ В ХОДЕ ПРОГРЕССА

1.1. *Настоящее мертвых. Историзированное кладбище и анонимные захоронения*

Память, которая культивируется на кладбище, явно не порождена духом историзма. Но в характерные для цивилизации модерна тенденции к самоисторизации оказалась втянута и культура памяти, относящаяся к умершим. И по явлениям, вызванным наложением друг на друга культур памяти, принадлежащих к эпохам до и после формирования современного понимания истории, можно четко распознать темпоральную структуру модерновой культуры.

Мы знаем и почитаем Просвещение как эпоху реформ, в нее включена и реформа кладбищ. В городах, основанных в Средневековье, кладбище или, точнее, церковное кладбище располагалось в центрах застройки, не допускающих расширения. Это не могло не приводить к проблемам переполнения — прежде всего при массовом поступлении трупов во время эпидемий и затем, в растущих масштабах, в связи с давлением избытка населения, обусловленным демографическими процессами или переселениями по экономическим или политическим причинам. Дополнительное обострение проблемы вместимости, возможно, было связано с градостроительным развитием, когда князья или магистраты претендовали на части кладбищенских территорий для расширения площадей и улиц. Так или иначе, проблема размещения тех сограждан и остальных жителей, с которыми можно было общаться только в коммуникативных актах молитвенного обращения и воспоминания, стала в конечном счете неразрешимой.

Ответ на вызов этой проблемы как бы напрашивается сам собой: необходимо оборудовать новые, дополнительные места для погребения, а именно там, где имеются свободные участки земли, т.е. преимущественно перед воротами города. Так было в эпоху Просвещения, а в ряде случаев и раньше, и здесь мы сталкиваемся с одним из процессов, которые революционизировали модерновое развитие городов.

Мы уже давно свыклись с убедительностью этого ответа. Однако он, тем не менее, носит характер революции в области культуры памяти. Церковное кладбище, как и сама церковь, располагалось в центре города. Так что пространственно мертвецы оставались вблизи живых, причем на привилегированном месте, куда не надо было ходить специально, поскольку и так постоянно мимо него проходили. Перемещение могильной территории в ходе просвещенческой реформы погребения с церковного на обособленное кладбище отделило мертвых от живых, пространственно по крайней мере. Мы склонны сегодня комментировать эту ситуацию в духе культур-критики. Напрашивается популярная категория вытеснения — умирают теперь уже не дома, а сепаратно, в больнице, и даже похороны проходят в выделенных городах мертвых, куда

попадают только в том случае, если специально решают посетить их. Конечные остановки жизни, если рассматривать их с технической, транспортной точки зрения, оказываются дальними конечными остановками трамвайных или автобусных линий.

Но и в этом случае культур-критика основывается на неверном понимании. В действительности реформа похоронного дела, которая привела к упразднению старых церковных кладбищ как мест погребения и к оборудованию обширных кладбищ на свободном пространстве за городом, не отразилась негативно на культуре воспоминания о мертвых. Наоборот, благодаря реформе она расцвела беспримерным в истории образом. Наша проблема состоит не в том, что мы для памяти о том прошлом, представителями которого являются мертвые, уже больше не выделяем места в центре нашего обитания, а напротив, в высоком уровне почти недостижимых притязаний, которым мы подчинили воспоминание о мертвых в культуре модерна. Упразднение церковных кладбищ в пользу кладбищ обособленных не уничтожило в культурном отношении воспоминание о мертвых. Напротив, отношение к смерти, т.е. к уже умершим среди наших сограждан и ближних, все более индивидуализировалось и затем историзировалось.

Прогресс в культуре нашего отношения к умершим, который принесло с собой Просвещение, будет пониматься лучше, если обращать внимание при этом не только на изменение ментальности, а напротив, также на внешнее давление, которое в конечном счете не могло не проявиться, преодолевая все обычаи и ментальные ограничения. Грубо говоря, растущее с увеличением населения количество покойников на тесных, по градостроительным причинам не допускающих расширения церковных кладбищах старой части города неизбежно превратилось в невыносимую проблему санитарии, постоянно заявляющую о себе. Если поперечное сечение проточной системы не допускает расширения, то неизбежно возрастает скорость потока. Это означает, что времена занятости могил, когда мертвецы, так сказать, могут иметь покой, сжимаются в конечном счете до десяти, а то и до пяти лет. Обычные могилы превращаются в штабеля гробов. Возможность для разложения в почве, которой надо вернуть тела, состоящие из праха, оказалась безнадежно недостаточной, и было бы дурным вкусом живописать неприятные эффекты, сопутствующие этому. Любопытствующих, желающих ознакомиться с подробностями, мы отсылаем к соответствующей историко-культурной литературе[1]. Требования гигиены, которые в эпоху Просвещения обрели убедительность еще и по другим причинам, стали явно неопровержимыми, реформаторский абсолютизм нашел здесь обширное поле для деятельности, и с тех пор во всех положениях о кладбищах непремен-

[1] Весьма популярной стала прежде всего книга: *Ariés Ph.* Geschichte des Todes / Aus dem Französischen von H.-H. Henschen, U. Pfau (1978). 2. Aufl. München, 1980, особенно S. 608 и далее. Рус. пер.: *Арьес Ф.* Человек перед лицом смерти. М.: Прогресс — Прогресс-Академия, 1992. См., кроме того: *Etlin R.A.* The Architecture of Death. The Transformation of the Cemetery in Eighteenth Century Paris. London: Cambridge (Mass.), 1984, особенно P. 16.

но учитываются релевантные в санитарном отношении условия оборудования и использования кладбищенских территорий[2].

Вполне естественно желание прокомментировать в культур-критическом плане также и подчинение смерти требованиям санитарии и гигиены. Но такую щепетильность в отношении прогресса, подчинившего санитарным и эпидемиологическим предписаниям даже наше отношение к мертвым, можно позволить себе только в культуре, где блага этого прогресса в какой-то мере стали само собой разумеющимися. Литературная ирония по поводу румян на щеках трупа веселит лишь до того момента, пока реализм неприукрашенного отношения к мертвецам, к которому нас призывает «Смерть в Голливуде»[3] Ивлина Во, не вываливает на нас отвратительные подробности допросвещенческого быта церковных кладбищ. Истина, однако, заключается в том, что когда смерть наконец-то стали принимать и воспринимать как гигиенический вызов, повсеместно дело стало доходить до перехлестов в усилиях защитить жизнь если не от смерти, то по крайней мере от инфекции при разложении, неотделимом от смерти. К таким перехлестам относится даже не столько просвещенческий-романтический ренессанс идеи предавать труп не разложению, а очистительному пламени, сколько, например, распоряжение некоего князя Пюклера-Мускау, «чтобы его труп после смерти был погружен в ванну с кислотой до полного растворения»[4]. Если подойти к делу не с точки зрения истории культуры или ментальности, а с экологических позиций, то категория перехлеста оказалась бы еще довольно слабой для характеристики этого процесса. Куда, например, девать эту кислоту, если каждый или хотя бы только солидное меньшинство захотели бы устроить для себя такую очистительную баню после смерти, — вот в чем вопрос. Даже сжигание трупов, к использованию которого в плане культуры памяти модерна мы еще вернемся[5], также не является беспроблемным. Рост процента кремаций[6] приводит, как обнаружили экологи, к последствиям совершенно новым — к разработке так называемых «уничтожителей запаха», дезодорантов (их использование является обязательным при непрерывной ра-

[2] «Неподходящими являются территории с высоким уровнем грунтовых вод. Кладбища должны размещаться на особо сухих почвах, способствующих быстрому разложению трупов. Самыми подходящими являются крупнозернистые песчаные почвы, поскольку они хорошо пропускают воздух...» и т.п. См., например: *Schmidt G.* Das Friedhofsrecht in Niedersachsen // Die Niedersächsische Landgemeinde. 1953. Jahrgang 5. S. 98–101, S. 100.

[3] *Waugh E.* The Loved One. An Anglo-American Tragedy. London, 1969 [1947]. В Германии роман опубликован под названием «Tod in Hollywood» (Übertragung von P. Gen, zuerst Zürich, 1950). Рус. пер.: *Во И.* Незабвенная / пер. Б. Носика. М., 1969.

[4] *Boehlke H.-K.* Technische Perfektion und Totengedenken // Der Friedhof als Gemeinschaftsaufgabe. Tagung in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal 16.–18. Januar 1979 in der Evangelischen Akademie Hofgeismar, Schlößchen Schönburg. S. 21–23, S. 22.

[5] Ср. наст. изд., с. 52 и далее.

[6] «Число кремаций возрастает постоянно по равномерно растущей кривой», — говорится в книге Бёльке: *Boehlke H.-K.* Die Stellung des Friedhofes in den heutigen europäischen Gesellschaften // Kunst und Kirche. 1972. Jahrgang 35. S. 70–77, S. 76.

боте растущего числа крематориев), которые навлекли на себя подозрение как препараты, содержащие диоксин.

В сообщениях на эту тему невозможно затушевать зловещую сторону дела, и специалисты по похоронным услугам, да и историки, занимающиеся кладбищенской культурой, как и врачи, в связи с их профессией склонны к цинизму в целях психологической самозащиты. Тому, кто стремится избежать подобного цинизма, лучше всего придерживаться материальной стороны дела. Тогда становится понятным, что просвещенческий переход от старой культуры церковных кладбищ к модерновой, упорядоченной (помимо прочего в санитарно-гигиеническом отношении) системе кладбищ не является eo ipso процессом, вызванным религиозным упадком отношения живых к мертвым. Напротив, здесь мы имеем дело в первую очередь с процессом решения множества проблем под давлением последствий, неизбежно возникающих для живых при превышении пределов вместимости старых территорий для погребения. Обязанность соблюдения санитарно-гигиенических норм в местах памяти о мертвых никоим образом не наносит ущерб культуре этой памяти. И все же идея Просвещения сочетать смерть с гигиеной имела и фатальные последствия. Но эти последствия не касаются непосредственно похоронного дела, а напротив, имеют касательство к политике. Понятие гигиены, в его метафорическом словоупотреблении в эпоху Просвещения, как никогда в истории политики обладало способностью легитимировать специфически модерновую практику массовой ликвидаций людей. Очищение общества от тех, кто заражает его своим моральным разложением, — вот в чем содержался, начиная с Просвещения, с недвусмысленным использованием медицинской метафорики, глубинный смысл революционных массовых ликвидаций[7]. «Чистка» — так окрестили ту политическую практику, которой суждено было стать специфической практикой тоталитарных партий.

Но заниматься анализом этих взаимосвязей мы не будем. Здесь мы только упомянем тоталитарное обхождение с трупами, в которые превратились те индивиды, от кого партия, народ или общество хотели очиститься. Техническую сторону дела мы также не будем рассматривать. В своем политически-культурном значении этот образец еще не изгладился из нашей памяти благодаря метониму «массовое захоронение». Его политическая функция после ликвидации масс заключается в ликвидации памяти об этой ликвидации. Вот почему все следы по возможности безвозвратно уничтожаются. Исчезли те, кто не только как живые, но и как мертвые, а именно путем воскрешения их в памяти, могли бы нанести ущерб партии, народу или обществу. В той тщательности, с которой вожди и их приспешники, по воле которых совершались тоталитарные чистки, после физической ликвидации стремились истребить еще и следы памяти о ликвидированных, отражается значение, которое получило воспоминание о мертвых в жизненном контексте модерновых культур. Не в последнюю очередь это относится и к самим тоталитарным системам. Вместе с великолепием памятников победы растет и величие мавзолеев. В случае Ле-

[7] Пример соответствующего применения медицинской метафорики см.: *Markov W., Soboul A.* (Hrsg.). Die Sansculotten von Paris. Dokumente zur Geschichte der Volksbewegung 1793–1794. Berlin, 1957. S. 251.

нина политическая воля к консервации памяти охватила даже тело покойного, и во всей парадоксальности нетленного трупа он выставлен в центре гигантской империи как главный объект политического культа.

Становится понятным, что в специфически тоталитарной практике ликвидации памяти все еще проявляется исключительное значение, которое память (включая память о мертвых) приобрела именно в обществе модерна. Вот этому и положила начало просвещенческая реформа кладбищ. Церковное кладбище старого города, возникшее в эпоху, предшествующую современному пониманию истории, никак не может быть местом, которое каким-то особым образом способствовало бы приобщению к определенной культуре памяти. Это исключается хотя бы в связи с только что упомянутыми обстоятельствами, которые не могли не возникать из-за достигнутых, а также превышенных пределов вместимости территорий для погребения. Более важно здесь то, что в рамках досекуляризованной религиозной культуры забота о продолжении жизни в памяти потомков не могла особо занимать живых, и внешний вид церковных кладбищ, видимо, вполне этому соответствовал. Еще сегодня остатки этого мира церковных погостов туристы обнаруживают в некоторых сельских районах, если только местные жители соответственно настроились на ожидания гостей, которые со специфическим для модерна музейным восторгом ищут встречи с прошлым и на кладбищах. На тесной территории за стенами церковного кладбища сроки занятия могил оставались недолгими, собранные в склепах кости могли быть доступны и собакам, если бы это их интересовало, и даже там, где кости заботливо сложили в штабеля, а черепа снабдили именами, эти имена, очевидно, не являются символическими указаниями на ушедшие в прошлое жизненные истории конкретных людей, память о которых сохраняется. Напротив, их непреходящий смысл заключается в memento mori, контекст которого не есть контекст определенной культуры консервации индивидуализированной памяти о прежде живших людях.

Пространство для индивидуально-ориентированного воспоминания о мертвых, сохраняющего их живыми в памяти, предоставляет лишь пространство реформированного кладбища. И это надо понимать буквально. Лишь на допускающих расширение кладбищенских территориях вне тесных границ старого города стали доступными пространства достаточной вместимости, без которых нельзя обойтись, если не тревожить покой мертвых дополнительными захоронениями в старые могилы до момента окончательного разложения тела умершего. «Период так называемой кладбищенской рекультивации» увеличен, и это позволило, не нарушая типовых норм модерновых кладбищенских уставов, расширить «кладбищенский период» (Ruhefrist) или «щадящий период» «по меньшей мере» до «периода полной минерализации»[8]. «Выбор продолжительности кладбищенского периода осуществляется в контакте с окружным врачом при учете состояния почвы и уровня грунтовых вод», — это уже известный санитарный аспект дела. На практике учитываются дополнительные

[8] *Gaedke J.* Handbuch des Friedhofs- und Bestattungsrechts. Mit ausführlicher Quellensammlung des geltenden staatlichen und kirchlichen Rechts. Stand: 1. April 1977. 4. überarb. Aufl. Köln; Berlin; Bonn; München, 1977. S. 157.

параметры — «для взрослых», «в зависимости от вида почвы», «15–40 лет»; на многих кладбищах в настоящее время покойнику гарантируется неприкосновенность его могилы по крайней мере в течение 30 лет[9]. Три десятилетия — это, как ни говори, период жизни одного поколения, и тем самым открываются временны́е рамки для культуры, которая с целью индивидуализации стремится сохранять мертвых живыми в памяти. При этом, разумеется, модерновое постпросвещенческое кладбище с могилами, рассчитанными на длительный срок, есть только внешняя предпосылка индивидуально-ориентированной культуры воспоминаний о мертвых. Более важным является то изменение в самоощущении индивидов, которое — что касается высокой культуры — отражается в модерновой истории автобиографии[10]. В этой истории происходит детипизация жизненных карьер, знакомых нам по своим истокам у Августина — как истории религиозного обращения, у более поздних авторов — как истории пробуждения и, разумеется, также как разнообразные мирские истории испытаний и успехов[11]. В плане социальном и культурно-историческом в эпоху Просвещения жизненные истории стали сочиняться как истории формирования личности, результатом которых был не тип, а уникальность, нарративное представление которой не утверждает некий образец, а являет исключительное своеобразие индивидуального. Лишь в отношении подобной жизненной истории можно сказать, что в памяти о ней она может найти свое продолжение, а на кладбище этому соответствует надолго законсервированная могила. Культурный смысловой контекст, в который это вписывается, простирается теперь далеко за пределы смысла, возникающего в сознании в день праздника Всех святых или в Поминальное воскресенье. Приватные даты, а именно даты, имеющие личное значение в жизни покойного, а также семьи, друзей, или фирмы и прочих институтов, с которыми он был связан в жизни, становятся теперь главным поводом разыскать могилу и обновить ее убранство.

Разумеется, на реформированном кладбище имеет место и буржуазная имитация феодального жизненного мира. Пышно расцветает показное великолепие фамильных гробниц, а в пространственном размещении привилегированных или менее ценимых мест на новых кладбищах отражаются новые иерархии и расслоение буржуазного мира по значимости. Но решающим здесь, в подобной диффузии старых привилегий верхнего слоя в буржуазном обществе мертвых, является все же приращение нового. Указания профессии на могильных памятниках явно имеют иной смысл, чем аристократические титулы, а кто высекает в камне, что был владельцем земельных угодий, в своей претензии на социальную значимость конкурирует не со старыми помещиками-землевладельцами. Напротив, речь идет об указаниях на успешную карьеру при жизни, которую

[9] *Gaedke J.* Op. cit. (См. примеч. 8.)

[10] Ср. в связи с этим: *Henningsen J.* "Jeder Mensch erfindet sich eine Geschichte". Max Frisch und die Autobiographie // Literatur in Wissenschaft und Unterricht. 1971. IV/3. S. 167–176.

[11] Ср. в качестве примера: *Shoemaker W.* English Autobiography: Its Emergence, Materials and Form. Berkeley; Los Angeles, 1954. Кроме того: *Delany P.* British Autobiography in the Seventeenth Century. London, 1969.

данный индивид сделал, ориентируясь на модерновые идеалы личности. Могила представляет историю деятельности личности, в исключительных случаях известной за пределами семейства — ее знают представители местной промышленности, академических школ, союзов или партий как свою собственную историю. Память об умерших становится тем самым частью актуализации историй о происхождении с тенденцией к индивидуальной, семейной и общественной самоисторизации. Модерновые кладбища — это места постепенной консервации могил с целью историзации. При этом могилы знаменитостей, уход за которыми (если срок семейных полномочий истек) сегодня повсеместно осуществляется муниципальными службами, представляют собой только общеобязательные объекты интереса, на который на реформированных кладбищах немедленно стал претендовать и маленький человек среди покойников. Как же иначе прикажете понимать распространяющийся обычай ставить надгробие на каждую могилу? На камне ведь высекается то, что не должно быть предано забвению, пока существует Земля. Как прикажете представлять себе мир, в котором такое предусмотрено для имени каждого человека? Очевидно, что такой поворот мысли никогда не продумывался до конца со всеми его последствиями. Так или иначе, таков мир, от которого требуется невиданная прежде работа по сохранению памяти.

Эстетическая атмосфера реформированных кладбищ соответствует этому. Красивое кладбище — еще сегодня люди думают, что такое можно увидеть, а историки, занимающиеся кладбищенской культурой, подтверждают это[12], — есть прежде всего кладбище для покойников, пребывающих живыми в памяти, в этом смысле — секуляризованное, а не расположенное у храма кладбище, которое было предназначено для погребения тех, кто был уверен в предстоящем воскресении. При этом, разумеется, не исключаются религиозно-христианский аспект дела, с одной стороны, и специфически модерновый, а именно аспект культуры памяти, — с другой. Просвещенческие реформаторы кладбищ рекомендовали публике новые, гигиенически чистые, а затем и приукрашенные места погребения, используя не в последнюю очередь религиозные аргументы, и не кто иной, как Вольтер пришел к выводу, что все же для почитания Божественного начала не подходит место, если оно одновременно оказывается местом гниения трупов[13]. Согласно этому аргументу, отделение мертвых от живых устроением новых кладбищ за пределами тесноты старого города учитывало бы не только требования гигиены, но одновременно и требование рационального культа, оказываясь, кроме того, удобным поводом, чтобы превратить кладбище в образец садового дизайна. Это можно было даже воспринимать как эстетическое торжество Сотворения мира, тем более, что это хорошо вписывалось в романтическую философию природы.

Но здесь речь идет не об истории кладбищенской культуры, а об изложении трудностей, отражающихся и в этой истории, с которыми сталкивается мо-

[12] Ср.: *Boehlke H.-K.* Op. cit. (См. примеч. 6.) S. 70–77, особенно S. 72.

[13] Цит. Р. Этлином: *Etlin R.A.* The Architecture of Death. The Transformation of the Cemetery in Eighteenth Century Paris. P. 17.

дерновое сознание из-за избытка требуемой от него работы памяти (Erinnerungsleistungen). Метонимически можно обозначить эти трудности как парадоксальность демократизации надгробия. Каменные надгробия, как уже говорилось, предназначались «раньше привилегированному слою». Самое позднее «со времен грюндерства» они относятся «вообще к социальному престижу»[14]. Но можно ли вообразить себе такого субъекта культурной памяти, чтобы его способность памяти была сопоставима с долговечностью памятных надписей, высеченных в камне? Очевидно, подобного субъекта культурной памяти не существует — во всяком случае для колоссального количества мертвецов, имена которых — отлитые в бронзе или высеченные в граните — мы видим на наших больших модерновых кладбищах. Разумеется, по указанным гигиеническим причинам «минимальные кладбищенские периоды» довольно продолжительны; они охватывают, как говорилось, примерно время жизни одного поколения, и это обстоятельство можно использовать в отношении культуры памяти. Но рано или поздно наступает время, когда при ликвидации могил — хотя бы они были семейными могилами на протяжении жизни трех поколений — хорошо сохранившееся надгробие, в свою очередь, становится проблемой для удаления, и в этом случае представляется, что по финансовым и экологическим причинам хорошим решением проблемы была бы переработка. Место, где собраны старые надгробия, производит сильное впечатление, оно впечатляет тем больше, чем моложе покойники, чьи надгробия между тем утратили свою функцию памяти. Создается впечатление, будто богатая традициями практика увековечивать память об именах с помощью надгробия возвысилась на модерновом кладбище до общей практики, цель которой — подкрепить опыт окончательности смерти дополнительным опытом того, что и жизнь в памяти быстро угасает.

Итак, повторим еще раз: время занятия могилы на модерновых постпросвещенческих кладбищах существенно увеличилось, и это относится к темпоральным предпосылкам жизни в памяти потомства (Nachleben in der Erinnerung), обеспечить которую является важнейшим смыслом этих кладбищ. Но между тем, как кажется, утверждаются скорее противоположные тенденции. У администрации крупного модернового кладбища свои рациональные соображения, идущие вразрез с выразительными формами индивидуально-ориентированной культуры воспоминания. На крупных кладбищах, устроенных в XIX в. и давно превратившихся в кладбища центра города, заново встают проблемы вместимости, поэтому в интересах города по возможности снизить «кладбищенский период» до периода, прагматически приемлемого в отношении благочестия, а также допустимого в санитарном отношении. Но самые важные причины снижения интереса к тому, чтобы воспоминание о мертвых превращать в долговременное воспоминание и соответственным образом оборудовать могилы как постоянные, лежат глубже. О каких причинах идет речь? В первую очередь в контексте модернового препровождения жизни ослабляется связь памяти, темпорально упорядочивающей реальность, с фиксированными местами в пространстве. Конкретно это означает, что с динамикой и ростом дифференциации

[14] *Boehlke H.-K.* Op. cit. (См. примеч. 6.) S. 72.

обществ модерна растут возможности мобильности населения, а вероятность сохранения места постоянного обитания уменьшается. Тем самым снижается вероятность того, что покойный будет погребен на кладбище того же поселения, в котором родился, постоянно жил, возможно, даже в том самом доме, в котором еще будут жить его дети и внуки со своими семьями. Это неизбежно отражается на традиции фамильного склепа, расцвет которой, по-видимому, можно отнести к концу XIX столетия. Такая могила перестает быть целью прогулок или экскурсий. Уход за ней доверяется профессиональным работникам предприятия, оказывающего садоводческие услуги. Если она находится в месте, с которым не связаны никакие воспоминания детства, она неотвратимо изглаживается из памяти, как место памяти, а в конечном счете право на уничтожение могилы, полученное администрацией кладбища, без возражений принимается к сведению. «Человек не может жить без кладбища»[15], с этим не поспоришь. Но в предельном случае модерна это означает только, что в упорядоченном обществе погребением мертвецов также стремятся заниматься упорядоченным способом. При этом в связи с ростом мобильности неизбежно снижается значение кладбища как пространства индивидуально-ориентированной культуры воспоминания, а периоды занятия могил снова сокращаются.

Кроме того, поколения в динамической культуре удаляются друг от друга не только в пространственном, но более того — и во временном отношении. Актуализация ранее живших людей в памяти не вызывает особых затруднений, если множество того, что на основе жизненного опыта связывает поколения, велико. Напротив, в динамической культуре культурные стандарты, на которые люди ориентируются, меняются гораздо стремительнее, чем когда-либо прежде.

Между поколениями возникают различия в стиле жизни. Особенности, порожденные доминирующим опытом жизни, уже сегодня разделяют возрастные когорты временными интервалами, которые существенно короче периода жизни одного поколения[16], и представители живущих одновременно поколений становятся по отношению друг к другу в некоторых отношениях историческими. Образ, который имеется у поколений друг о друге, утрачивает специфичность, и особенно это относится к образу памяти давно умершего человека. Только занимаясь семейной историей как хобби, можно в конечном счете научиться не ощущать бросающегося в глаза курьезного позерства, отличающего сегодня семейные фотографии того или иного поколения, которое, скажем, было молодо до Первой мировой войны — по одежде и обстановке жилья, само собой, но и по внутрисемейным социальным иерархиям, зримым по характеру размещению персонажей на групповых фотографиях, а также по исторической отдаленности конкретного детства, читаемой в облике мальчика, одетого в кадетскую форму. Как сказывается на отношении к могилам

[15] *Boehlke H.-K.* Op. cit. (См. примеч. 6.) S. 74.

[16] Ср.: *Jaide W.* Generationen eines Jahrhunderts. Wechsel der Jugendgenerationen im Jahrhundertrend. Zur Sozialgeschichte der Jugend in Deutschland 1871–1985. Opladen, 1988.

собственных бабушек и дедушек то обстоятельство, что сам человек уже вступил в поколение бабушек и дедушек? Исторические дистанции, которые должны перекрываться посредством памяти, велики, и они, как уже говорилось, только увеличиваются вместе с динамикой культурного развития. Правда, что тенденции самоисторизации нашей современной цивилизации способствуют распространению любительских занятий семейными историями, так что существует также специфически модерновый вид ухода за могилами ради семейной истории. Но в социальных средах, где из-за особенностей, связанных с происхождением и другими обстоятельствами, менее сильно сформировался интерес к семейной истории, люди, естественно, заботятся о семейных могилах меньше, чем когда-либо, а потому внедряются рациональные методы модернового управления кладбищами с их тенденцией к унифицированным срокам рекультивации.

В процессе воспоминания субъект действует не в рамках собственной памяти. Практика обновления живого воспоминания является ритуальной практикой, и человек тут — от похорон до дня поминовения усопших и от символики надгробий до форм совместных посещений могил, — вынужден (чтобы вообще двигаться, высказываться или делать распоряжения) сообразовываться с образцами, которые нельзя с ходу придумать ad hoc. Эти образцы отмечены печатью определенных институтов, передаются традицией и в своей социальной обязательности также зависят от институтов. Кто участвует в жизни церкви, не сталкивается тут с какими-либо трудностями. Кто же отошел от этого, живя в секуляризованном обществе, неизбежно попадает в сложную ситуацию. Все начинается уже при составлении некролога. Кто со времен своей конфирмации не разучился пользоваться лютеровской Библией, тому легко выбрать из нее (ведь там выделены полужирным шрифтом стихи топического содержания) подходящий стих для некролога. Если препоручить дело пастору, ничего плохого, как правило, не будет. Если человек недостаточно связан с церковью и Библией, то следствием этого будет немота некролога. При этом немотствование еще можно считать удачей, ведь оно в своем роде тоже говорит, да еще как. Неудача возникает — и повторяется все чаще — когда индивиды, которым приходится делать такие объявления, считают себя компетентными и пишут в некрологе о покойном небылицы. Ослабевающий социальный контроль сопровождается также и ослаблением контроля в вопросах вкуса, а наряду со свободами, которые мы обретаем благодаря эмансипации от ритуалов, связанных с религиозными институтами, неизбежно распространяется также и безвкусица. Все это просачивается и в кладбищенскую культуру. На похоронах можно в качестве траурной музыки услышать популярные мелодии типа «S'ist Feierabend» и «Rolling home». Могут пропеть и «Gute Nacht, Mutter». Вместо ангела, столь привычного людям старшего поколения, на детскую могилку указывает Пумукль* или даже олененок Бэмби. После того как группы провожающих по-

* Пумукль — герой популярной книги писательницы из Мюнхена Кают Эллис, это маленький смешной кобольд, с которым происходят всевозможные забавные истории.

койника в последний путь и так уже растаяли, а это происходит в больших городах почти всегда, так что по дороге к могиле уже никого не остается, чтобы последовать за гробом, становится ясно, что охрану места последнего пристанища человека следует поручить комнатным собачкам: и вот на надгробиях появляются «собачьи портреты», высеченные каменотесами по фотографиям[17]. Короче говоря, последствия ритуальной неопределенности распространяются. Там, где их замечают, воцаряется растерянность, а объектом подобной растерянности никто быть не хочет.

Каковы последствия? Выбирают ритуал нулевой ступени — так называемое анонимное захоронение. «Увольнения у каменотесов», «Погребальные фирмы высказывают озабоченность», — таковы заголовки заметок об экономических последствиях этого тренда[18]. Уже само название «анонимное захоронение» говорит само за себя. Тот, кто решается заказать его, заранее отвергает желание продолжить жизнь в памяти в качестве покойного. Что толку увековечивать свое имя на камне, если желание время от времени прочитать его высеченным на камне становится у собственных потомков все слабее, а камень, в свою очередь, сразу по истечении определенного кладбищенским уставом «кладбищенского периода» будет снесен? Выход из ситуации предлагает богатое традицией кремирование. На кладбище Гамбург-Ольсдорф число кремирований за последние восемь лет утроилось. В Южной Германии, в особенности в районах с католическим населением, доля кремаций растет не столь круто. «Церковь, — имеется в виду римско-католическая церковь, — придерживается старого обычая, согласно которому тела умерших верующих должны быть похоронены, т.е. погребены в земле»[19]. Однако новая практика кремации, цель которой — анонимное захоронение урны под дерном, уже не имеет ничего общего с идеологически окрашенными ритуалами огненного погребения, практикуемыми вольнодумцами-антиклерикалами, а потому и церковь едва ли ощущает вызов со стороны своих верующих, если они желают кремировать покойников. Но среди маргинальных групп желание как можно скорее стать после смерти анонимным проявляется еще более радикально. Глядя на газоны, под которыми анонимно захоронены урны, случайные посетители могут все же предположить, в каком месте, вероятно, находится прах знакомого человека, о котором они помнят. Те же, кому неприятна даже мысль о таком предположении, могут оставить распоряжение, чтобы их прах был развеян. Если прах развеять над морем, то диффузионный эффект от такого рассеивания возрастет еще более.

Итак, на наших глазах совершается драматическое изменение культуры погребения. Налицо богатые возможности для изучения структуры эволюцион-

[17] *Albrecht H.* Hin und wieder noch ein Engel. Die Sitten auf deutschen Friedhöfen haben sich radikal gewandelt // Die Zeit. 1988. 11. November. Nr. 46. S. 86.

[18] Взято из заголовков и подзаголовков статьи «Все больше граждан настаивают на анонимности после смерти»: Immer mehr Bürger wollen im Tod anonym bleiben // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1988. 24. Februar. Nr. 46. S. 9.

[19] *Eichmann E.* Lehrbuch des Kirchenrechts. 12. Aufl. Bd. 2. Sachenrecht. München, 1967. S. 338.

ных процессов. На новое, чей смысл, возвещаемый и удостоверяемый, довольно легко распознать, контингентно наслаиваются реликты старых обычаев — так, например, в Швеции, перед тем как гроб опускается для сожжения в печь, провожающие бросают вослед покойнику землю из приготовленного ведерка. «Это ничего не дает даже как символическое действие, только прибавляет хлопот уборщице», — комментирует данную практику журналист, компетентный в истории культуры погребения[20]. В упомянутом пережитке прошлого, связанном с землей, речь явно идет о составной части ритуала, о которой известно, что ее можно объяснить только исторически[21]. В ходе погребения в земле, что раньше было единственной практикой, имело смысл символически участвовать в работе могильщика, предающего покойного земле.

Но в чем заключается смысл распространяющегося в сфере культуры стремления помешать продолжению жизни покойного в памяти его близких родственников? Зачем в контексте культуры, которая как никогда прежде характеризуется тенденциями самоисторизации, заранее отнимать у близких родственников всякую внешнюю опору, на которую может опираться их память? На первый взгляд может показаться, что эта практика не соответствует цветущему историзму нашей цивилизации модерна. В разнообразных формах проявлений ностальгии, в том числе в страсти к антикварным вещам, в растущей готовности (надо сказать, дорогостоящей) обходиться со своим старым домом как с памятником архитектуры, историзм модерна уже давно вошел в состав нашей повседневной культуры, и именно ему противоречит распространяющееся желание как можно скорее создать после смерти анонимность. Если присмотреться, то можно заметить взаимосвязь: по указанным выше причинам затруднения, возникающие при попытках обеспечить продолжение чьей-либо жизни в памяти его потомков, нарастают быстрее, чем интерес к такому продолжению жизни. А это означает, что исполнение долга памяти становится обременительным, и мы с прецептивным тактом освобождаем наших живых родственников от этого долга, взяв на себя индивидуальное обязательство сохранять анонимность после смерти.

Таким образом, практика анонимного захоронения относится к прагматике прецептивного освобождения от долга памяти, исполнение которого по указанным выше причинам в самом деле становится все затруднительнее. Данная прецепция есть часть культуры историзма, которая, разумеется, уже давно историзировала и само кладбище. Мертвые кладбища, как называл их Теодор Фонтане, т.е. кладбища, на которых уже больше не хоронят, попадают, как правило, в систему охраны памятников, благодаря своему возрасту и тому обстоятельству, что остатки надгробий обладают обаянием исторической древности.

[20] *Boehlke H.-K.* Technische Perfektion und Totengedenken // Der Friedhof als Gemeinschaftsaufgabe. Tagung in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal, 16.–18. Januar 1979 in der Evangelischen Akademie Hofgeismer, Schlößchen Schönburg. S. 21–32, S. 29.

[21] По поводу типа исторического объяснения см. главу «Что означает “Это можно объяснить только исторически”?» в моей книге: *Lübbe H.* Geschichtsbegriff und Geschichtsinteresse. Analytik und Pragmatik der Historie. Basel; Stuttgart, 1977. S. 35–47.

В этом смысле здесь можно говорить о сохранении памятника истории кладбищенской культуры. Но и индивидуальные могилы включаются в систему охраны памятников в своем индивидуальном значении, а именно как могилы знаменитых людей. Если на кладбище похоронено несколько знаменитостей, то о закрытии таких кладбищ нечего и думать, даже в тех случаях, когда речь идет о не очень старых кладбищах. Если на одном из таких кладбищ уже не совершаются погребения, то и незнаменитая личность, которая нашла здесь место своего упокоения, может рассчитывать на постоянную консервацию ее могилы — вместе с могилами знаменитостей — по воле системы государственной охраны памятников. Так, сегодня, наряду с ширящейся анонимностью после смерти, существуют неизвестные до сих пор формы постоянного сохранения своего имени — как побочный эффект взятой государством на себя обязанности сохранять историческую память о великих личностях, в том числе их могилы. Время от времени находятся основания для подозрения в спекуляции на побочном эффекте сохранения своего имени при консервации значимых для историзирующего сознания кладбищ, проходящей под лозунгом охраны памятников. Так, открытое сразу после окончания Второй мировой войны кладбище «Вальдфридхоф» в Целендорфе* считалось «социальным кладбищем». «Лишь представители бедных слоев населения хоронили здесь своих покойников, тогда как состоятельные семейства стремились хоронить родственников на городских кладбищах». «И только после похорон Эрнста Ройтера**... кладбище начало завоевывать популярность». Как следствие, вытекающее из закона о кладбищах, позволяющего каждому быть похороненным в могиле по его выбору, на каком бы кладбище она ни находилась, немедленно возникла «чрезвычайная ситуация в отношении загруженности могил». По аналогии с различием в престиже между городскими кварталами формируются и различия между кладбищами. Тот, кого похоронили на правильном кладбище, с большой долей вероятности может рассчитывать на контингентное, а именно осуществляемое в рамках охраны памятников увековечение его имени[22]. В качестве вторичного эффекта процессов историзации этого в конечном счете также можно достичь в тех редких случаях, когда собственное надгробие благодаря его особым художественно-эстетическим качествам получает статус объекта охраны памятников. Надгробие (Grabmal) — могильный памятный знак — превращается в памятник (Denkmal) в историческом смысле, но несмотря на это превращение он остается в личной собственности.

* Берлинское кладбище, расположенное в бывшем предместье Берлина, селе Целендорф, в 1920 г. вошедшем вместе с несколькими другими селами в черту Берлина в качестве 10-го городского района Целендорф, ныне район Штеглиц-Целендорф.

** Эрнст Ройтер (1889–1953), немецкий политик. Правящий обербургомистр Западного Берлина (1948–1953).

[22] О целендорфском кладбище «Вальдфридхоф» см.: *Jenz H.* Der Friedhof als stadtgeographisches Problem der Millionenstadt Berlin — dargestellt unter Berücksichtigung der Friedhofsgründungen nach dem 2. Weltkrieg // Abhandlungen des Geographischen Instituts. Anthropogeographie. Bd. 26. Berlin, 1977. S. 77 и далее.

Объектами «вечного хранения» становятся, наконец, в Германии также «могилы жертв войны и тирании»[23]. На эти могилы «не распространяются инструкции по временно́му ограничению права на "кладбищенский период" (Ruherecht)». Первоначальный смысл вечного сохранения этих могил, разумеется, не связан с историзацией. Определенно можно даже сказать: вечное хранение «могил жертв войны и тирании» должно противодействовать историзации политических обстоятельств их смерти. Если точнее, то смысл указанного сохранения могил состоит в морально-политическом напоминании. Между тем реализация этого смысла предполагает, что данное напоминание является актуальным вечно, т.е. что, будучи предупрежденным о постоянных опасностях или наклонностях, человек будет вести себя иным образом.

Не нужно обладать, однако, особой проницательностью, чтобы понять, что содержащееся в юридических предписаниях по вечному сохранению могил жертв войны и насилия предположение, что присущий этим могилам характер напоминания обладает собственной вечной актуальностью, фиктивно. Это становится понятным при сравнении морально-политического смысла современных немецких мемориальных кладбищ с традиционными военными кладбищами других стран. Памятник неизвестному солдату во Франции, могила Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве с Вечным огнем, которую любят посещать новобрачные после официального бракосочетания, отдают почести мертвым, показавшим готовность принести в жертву свою жизнь, и напоминают об этой готовности. Немецкие военные кладбища раньше также не носили никакого другого смысла, и никакой сельский памятник павшим в своем изначальном историческом смысле не допускает иного толкования. Будет явным переиначиванием смысла их напоминания, если мы будем видеть его не в долге, повелевающем принести подобную жертву, а в суровом долге, повелевающем теперь препятствовать возникновению любых обстоятельств, при которых подобная готовность пожертвовать собой некогда считалась необходимой. Разумеется, у этого переиначивания имеются веские причины. Но чем непреложнее являются эти причины в их актуальной значимости, тем необозримее становится исторический перечень, определяющий формы политической идеи смерти недавнего или отдаленного прошлого. И такая картина возникает не только с точки зрения проигравшей стороны. Уже отсутствуют условия, и политические, и военные, при которых событие вроде битвы при Вердене можно было бы просто помыслить, а сильное впечатление, которое и сегодня получает посетитель склепа на этом месте, связано не с неподвластным времени постоянством его изначального смысла напоминания, а совсем наоборот — с уникальной историчностью обстоятельств, уже нуждающихся — чтобы быть понятыми сегодня — в научно-исторических разъяснениях[24]. Не изначальный смысл напоминания, предполагавшийся прежними воинскими

[23] *Gaedke J.* Op. cit. (См. примеч. 8.) S. 158. Подробнее в главе 7 «Могилы жертв войны и тирании» (S. 213 и далее).

[24] *Koselleck R.* Kriegerdenkmale als Identitätsstiftungen der Überlebenden // Marquard O., Stierle K. (Hrsg.). Identität. München, 1979. S. 255–276.

мемориалами, а наглядная очевидность его историчности дает возможность сделать упомянутые места местом демонстрации дружбы между бывшими врагами. Там, где историчность обстоятельств, жертвой которых пали погибшие, не вполне очевидна, этого не происходит.

Нечто похожее относится и к могилам жертв тоталитарной тирании. В этом случае законодательно взятое на себя обязательство по сохранению этих могил конституирует отнюдь не смысл напоминания, значимость которого могла бы простираться (в зависимости от превратностей истории) на все времена. Чем решительнее — посредством напоминания, репрезентацией которого служат захоронения жертв тоталитарной тирании после ее краха, — дискредитируется идеологическая основа этого насилия, тем меньше становится политическая актуальность этого напоминания, и то, что произошло, приобретает характер исторической уникальности, растущая непонятность которой свидетельствует о том, что вероятность повторения случившегося снижается, а это и означает, что актуализация этой уникальности превращается в процесс ее историзации.

Итак, нужно примириться с неизбежностью: даже законодательные предписания, обязывающие нас с морально-политической целью сохранять могилы жертв войн и насилия, в конечном счете способствуют их историзации. Культура модерна есть культура прогрессирующей самоисторизации, и даже мертвые сегодня, по-видимому, пребывают в нашей памяти актуальными преимущественно в историзирующих формах воспоминания о них. Кстати, именно это, скорее, и отталкивало от модерновой кладбищенской культуры и церкви, и священников, а также благочестивых верующих, восприимчивых к обсуждаемым культурным взаимосвязям. Ведь усилия, каковые в конечном счете всегда тщетны, прилагаемые в нашей культуре, чтобы мертвые продолжали жить в памяти, являются с религиозной точки зрения на жизнь иррелевантными усилиями. То, к чему эти усилия приковывают внимание, обедняют те жизненные цели, для которых в аспекте нашей смерти безразличен ответ на вопрос, насколько высоко будет цениться наше наследие как источник для исследования сыгранной нами роли в истории семьи, истории сообщества или любой другой, в том числе — для исследования нашей политической роли. «Будущее церкви лежит не на кладбище», — понятно разъясняет один церковный деятель[25]. Тем не менее это не должно становиться причиной противодействия историзирующим тенденциям кладбищенской культуры модерна. Ведь понимание того, что и память умирает, усиливает опыт смерти в ее абсолютном значении, и при ближайшем рассмотрении актуализация этой двойной смерти оказывается подлинным смыслом историзации кладбищ в эпоху модерна.

[25] *Weispfennig W.* Der Friedhof als Gemeinschaftsaufgabe — Rechtliche Fragen // Der Friedhof als Gemeinschaftsaufgabe. Tagung vom 27. Februar bis 1. März 1978 in der Evangelischen Akademie Hofgeismar, Schlößchen Schönburg. S. 27–38, S. 28.

1.2. *Охрана памятников, или Парадоксы стремления старое вновь сделать старым*

Сохранение памяти о том, что отошло в прошлое, в последнее время исторически изменяется и приобретает новые формы. Как мы видели, только реформа кладбищ в эпоху Просвещения придает индивидуально-ориентированное направление культуре воспоминания о мертвых. Широко распространяющаяся в настоящее время тенденция, состоящая в том, чтобы в случае смерти обязать родственников совершить анонимное захоронение умершего, также выражает небезразличие к продолжению жизни в памяти. Появление данной тенденции обусловлено пониманием возрастающих тягот, сопровождающих выполнение долга по сохранению памяти об умерших. К тому же обращение к анонимности играет дополнительную роль предусмотрительного освобождения от обязательств, которые накладывает на живых бремя сохранения воспоминаний об умерших.

В настоящий момент число людей, предпочитающих анонимное захоронение, стремительно растет — их прах предают земле без всякой могилы, гарантируя отсутствие надгробья, либо развеивают над рекой или даже над морем. Но в то же время растет и число покойников, чьи имена вместе с могилами и могильными плитами подвергаются надежной консервации на необозримо длительное время. Это происходит, если какие-либо могилы или даже целые кладбища получают статус охраняемых памятников. Основной интерес состоит здесь не в том, чтобы сохранить воспоминания об умерших как о неповторимых индивидах. Речь идет, скорее, о том, чтобы сохранить в памяти наглядное представление о реликтах переставших существовать и отошедших в прошлое культур памяти.

Какова же природа задействованного здесь интереса, в силу которого воспоминание об умерших уступает место воспоминанию об этом воспоминании? В культуре прогрессирующей самоисторизации ответ на этот вопрос напрашивается сам собой, если только мы обратимся к истории охраны памятников. Она хорошо исследована, и важнейшие свидетельства философии, которой руководствовалась деятельность по охране памятников в различные эпохи, в настоящее время собраны в одном издании[1]. В случае такого рода исследований мы имеем дело с воспоминаниями, как бы возведенными в куб: памятники, которые когда-то служили воспоминанием, после угасания этих воспоминаний

[1] *Huse N.* (Hrsg.). Denkmalpflege. Deutsche Texte aus drei Jahrhunderten. München, 1984. Кроме того: *Dehio G., Riegl A.* Konservieren, nicht restaurieren. Streitschriften zur Denkmalpflege um 1900 / mit einem Kommentar von M. Wohlleben und einem Nachwort von G. Mörsch. Braunschweig; Wiesbaden, 1988.

подвергаются консервации как памятники определенной культуры воспоминания, а современная историография, посвященная охране памятников, напоминает нам об изменяющихся в ходе истории формах этой консервации.

Охрана памятников не только является объектом исторического исследования, но и находится в фокусе общественного интереса, более пристального, чем в любую из предыдущих эпох. Но в чем здесь дело? Что лежит в основе различных гражданских инициатив, демонстраций и протестов против сноса ненужных фабричных цехов, построенных в межвоенный период? Что за образ мысли стоит за бурным распространением термина «воссоздание», неведомого еще дюжину лет назад? Каким изменениям суждено было произойти с понятием прогресса, чтобы во имя его могли выдвигаться требования вернуть старый облик деревням и даже целым городским кварталам?

Ответ на эти вопросы, который, вообще говоря, на примере охраны памятников, представляет собой ответ на вопрос о специфической для эпохи модерна функции исторического сознания, я дал и подробно истолковал в другом месте[2]. В подробностях повторять его не станем. Здесь важно показать, каким образом выходит так, что под воздействием эволюционной динамики, постоянно возрастающей в различных областях нашей цивилизации, историческое сознание больше не в силах сносить выпадающие на его долю достижения в силу чрезмерности предъявляемых при этом требований. Предметом обсуждения служат здесь предположения о будущем актуально наличествующего в историческом сознании прошлого, когда к этому сознанию предъявляются все более чрезмерные требования. Существующие в настоящее время формы охраны памятников могут дать нам наглядный пример этих превосходящих всякую меру требований. Фоном наших рассуждений является при этом положительное и бесспорное чувство, вдохновляющее современное движение в защиту памятников — начиная с упомянутых гражданских инициатив и вплоть до профессиональных успехов наших реставраторов и чиновников, отвечающих за защиту памятников. Существуют границы выполнимости требований к истористской актуализации прошлого, и чем настойчивее наша цивилизационная ситуация требует от нас такого наглядного представления, тем труднее становится эти требования выполнять.

Итак, в чем же состоит положительный смысл истористской актуализации прошлого, угроза которой, тем не менее, заложена в условиях ее реализации? Кратчайший из всех встреченных мною до сих пор ответов на этот вопрос принадлежит градостроителю и архитектору Бенедикту Хуберу, и касается он охраны памятников. Приведем этот ответ и здесь: «В случае, если в год сносится более двух-трех процентов старых построек», расположенных в рабочих и жилых кварталах наших городов и деревень, «и их место занимают постройки новые», по мнению Бенедикта Хубера, «граждане чувствуют себя неуверенно

[2] Ср. вторую часть («Прагматика») моей книги по теории исторического знания: *Lübbe H.* Geschichtsbegriff und Geschichtsinteresse. Analytik und Pragmatik der Historie. Basel; Stuttgart, 1977.

и соответственно реагируют»[3]. Обусловленная темпом происходящих изменений утрата привычности — это правдоподобное побочное следствие происходящих изменений. А причиной этого является исторически беспрецедентная динамика эволюции нашей жизненной среды, создаваемой градостроительством. Столь же правдоподобно и то, что этим обусловлены и усилия защитников памятников архитектуры, равным образом беспрецедентные по масштабу и профессиональной исторической квалификации. Их достижения представляют собой результат работы по восполнению обусловленной темпом происходящих изменений утраты привычности. Консервируя прошлое, защитники памятников архитектуры защищают условия возможности поддерживать опыт непрерывности. Они защищают узнаваемость. Они удерживают в настоящем то, что связывает современность с прошлым в коллективных и индивидуальных воспоминаниях.

Предрасположенность к культур-критике, возрастающая по мере модернизации модерна, побуждает нас к следующему вопросу: какой смысл имеют результаты защиты памятников, если они, будучи предназначенными для компенсации некоего недостатка, все равно отнюдь не способны устранить его как таковой? Так называемая теория компенсации, распространенная в исторических науках о культуре, а также результаты деятельности по охране памятников, музеефикация и другие аналогичные практические формы актуализации прошлого, приобретающие упорядоченный характер с помощью названных наук, становятся благодаря этому вопросу предметом оживленных интеллектуальных дискуссий[4]. Об этом нам еще предстоит говорить подробно, исходя из метакритической позиции[5]. Здесь же достаточно сказать, что тот недостаток, восполняемый в результате действий по защите памятников, т.е. обусловленная темпом изменений утрата привычности, не является результатом какого-то преднамеренного и предосудительного злоумышления. Речь идет, напротив, о недостатке, являющемся неизбежным побочным продуктом прогресса, от которого никто не может отказаться, сохранив при этом культурную и политическую легитимность позиции. Ведь именно общественное благосостояние, социальная защита, политическая и культурная эмансипация позволяют, вне всякого сомнения, называть прогрессом тот процесс цивилизации, который делает возможными все эти блага. Остается неизменным отсутствие готовности масс к отказу от общественного благосостояния, социальной защиты, политической и социальной эмансипации. Разоблачение прогресса как иллюзии до сих пор не выходит за рамки газетного фельетона. Именно поэтому очевидно, что хотя мы в настоящее время и вовлечены в обусловленные прогрессом скверные ситуации, но даже если в каком-то случае их хотят устранить вместе с причинами их возникновения, то это можно сделать только ценой отказа от

[3] *Huber B.* Irrationale Faktoren in der Stadtplanung // Neue Zürcher Zeitung. 1974. 11. August. Nr. 368. S. 29.

[4] Ср., например: Kursbuch 91: Wozu Geisteswissenscharten? / Hrsg. von K.M. Michel, T. Spengler. Unter Mitarbeit von H.M. Enzensberger. Berlin, 1988.

[5] Ср. наст. изд., с. 267 и далее.

прогресса. Утверждения о том, что существует якобы массовая готовность заплатить такую цену, носят абсурдный характер. Отсюда следует, что последующие затраты прогресса сами по себе не лишают значения те жизненные преимущества, которые возможны благодаря прогрессу и из-за которых он и получил свое название. Выражаясь языком экономистов, эти последующие затраты носят, скорее, характер издержек. Действительно, во многих жизненных ситуациях издержки, которые нам приходится нести, оплачивая преимущества жизни в условиях цивилизации модерна, растут быстрее самих этих преимуществ. Но и это не означает, что прогресс в действительности таковым не является. Выражаясь опять же экономическим языком, это значит, что уменьшается его предельная полезность. Тот, кто относится к этому рационально, не объявляет иллюзией до сих пор существующую убежденность в осмысленности прогресса. Напротив, он приспосабливается к ставшим доступными в опыте границам этого прогресса.

Обусловленная темпом происходящих изменений утрата привычности к явлениям культуры; разочарование, ощущаемое нами, когда вместо того, что мы ожидаем увидеть на основании наших воспоминаний, мы видим нечто совершенно другое, новое; а также принуждение, которое мы испытываем, будучи вынужденными все чаще отвыкать от визуальных или пешеходных привычек, — все это и есть последующие затраты прогресса. И эти последствия могут быть только компенсированными, коль скоро сам прогресс необратим фактически и морально. Кто будет серьезно настаивать на пересмотре процесса, превратившего деревню, расположенную рядом с большим городом, в цветущее жилище для трудящихся, которые только теперь, благодаря прогрессу, могут позволить себе иметь дом на лоне природы? Однако последующие затраты этого процесса хорошо известны: инфраструктура городского и пригородного транспорта поглощает хорошо знакомые нам улицы, за прежней деревенской околицей простирается необозримая новая застройка, в самой деревне магазины самообслуживания, для которых требуются большие площади, разрастаются за счет домиков, чьи узкие фасады раньше украшали улицы. Вернувшись в такую изменившуюся деревню спустя, скажем, лет пятнадцать после отъезда, прежний житель не сможет ее узнать. В итоге мы, возможно, прочтем еще один фельетон, где его сетования будут выражены в форме критики цивилизации. Эти сетования не просто понятны — они еще и обоснованны. Они справедливы уже в одном только эстетическом аспекте, не говоря о других, не менее важных сторонах этой проблемы. И все же отсюда не следует, что развитие, на результаты которого мы реагируем со столь смешанными чувствами, было неправильным. Спросим жителей этой превратившейся в город-спутник деревни, которые каждое утро и каждый вечер проклинают свои маятниковые поездки, согласятся ли они всерьез, со всеми вытекающими отсюда последствиями, предпочесть нынешнее положение жителей зеленого городка прежнему образу жизни, связанному с теснотой многоквартирных, казарменных домов? Поставить этот вопрос уже означает дать на него ответ. И согласие, которое мы обнаружим при ответе на этот вопрос, не нарушается тем, что с точки зре-

ния жителя зеленого городка есть иные, новые формы существования, намного более заманчивые, чем его нынешний образ жизни. Комфортабельное жилье в закрытых для движения транспорта, отреставрированных старых городских кварталах, где дорога до офиса занимает 12 минут и пролегает по пешеходной зоне, — вот уж действительно заманчивая альтернатива! Правда, она появляется только в эпоху санации старых городов, осуществляемой движением по охране памятников. Однако число городских жилищ, подлежащих возможной реставрации, остается весьма незначительным. Они дорогостоящи, и, соответственно, массового отказа от проживания в деревнях, ставших городами-спутниками, не происходит. Таким образом, эти деревни приобретают описанный новый облик, и тот, у кого он перед глазами, понимает, что направленные на сохранение памятников усилия местных властей, равно как и интерес, который к соответствующим объектам давно проявляют частные собственники, очевидным образом имеют компенсаторный характер.

Критики, ставящие под сомнение компенсаторный характер такого рода охраны памятников, внушают нам, будто существует альтернатива реставрации сомкнувшихся фасадов трех домов, которые выходят на деревенский рынок, тогда как на их обратной стороне в настоящее время расположено насквозь просвечивающее здание операционного зала филиала окружной сберкассы. Но поскольку мы не собираемся осуществлять ревизию цивилизационного развития, промежуточный результат которого у нас перед глазами в виде описанного состояния деревень-спутников, эта альтернатива будет означать всего-навсего отказ от реставрации этих фасадов. Единственным результатом такого отказа стало бы сокращение издержек на строительные работы. А вот выгода от реставрации имеет внеэкономический характер. Это весьма изысканная выгода. Она состоит, например, в том, чтобы дать возможность прежним жителям этой деревни распознать ее внешний вид. «Неузнаваема!» — такой может быть их стандартная реакция на посещение родной деревни впервые за последнюю дюжину лет. Отреставрированные в центре деревни фасады домов с фронтонами будут в таком случае убедительно опровергать это высказывание. Старая колокольня и так становится для человека, посетившего родную деревню, частью головоломки, картинки, собираемой из фрагментов, которая заставляет нас разыскивать другие знакомые очертания — даже в том случае, если маковка этой колокольни, ранее сделанная из выкрашенной зеленой краской жести, теперь покрыта настоящей позеленевшей медью, свидетельствуя о росте благосостояния жителей деревни.

Излишне продолжать описывать возможности нашего опыта, которые защищает охрана памятников, — от сохранения видов, достойных изображения на открытках (без которых не существует облика деревни ни для местных жителей, ни, тем более, для приезжих), вплоть до сохранения возможности вообще опознать собственную деревню в ее изображении столетней давности. Особой популярностью теперь пользуются книги с видами деревень и городов, где собраны изображения, подобранные по контрасту: слева — старый вид, а справа — нынешний. Такой контраст используется сегодня преимущественно

для пробуждения чувства ностальгии. Успешные же результаты консервации памятников, которые можно наблюдать на современных фотографиях, смягчают это чувство. Размещенные по контрасту изображения, на одном из которых (слева) мы видим заставленную машинами площадь, а на другом (справа) эта же площадь опять зарезервирована за пешеходами, демонстрируют наглядный пример того развития, которое каждый беспристрастно судящий поприветствует как прогрессивное достижение успешной компенсации результатов прогресса и которое, соответственно, будет предметом особой гордости совета общины. Так или иначе, речь идет о выделяющихся, бросающихся в глаза охраняемых памятниках, которые непрерывным образом связывают новый архитектурный облик со старым и вместе с тем ощутимо сохраняют единство изменяющегося в самом его изменении.

Таким образом, мы вкратце обрисовали положительный смысл современного движения в защиту памятников. Поговорим теперь о трудностях и даже, в конечном счете, о неразрешимых трудностях, с которыми сталкивается эта деятельность в условиях современной цивилизации. Я ограничусь указанием трех таких трудностей. Из-за их наличия защита памятников, в которой также всегда действует культур-критический импульс, сама может стать объектом культур-критики. Первая из упомянутых трудностей является при этом еще и самой безобидной. Речь идет о том, чтобы не допустить превращения архитектурной среды нашей жизни в среду, состоящую из одних памятников. Иначе говоря, как бы нам не переусердствовать в охране памятников! Вторая трудность имеет принципиальный характер. Необходимо определиться с ответом на вопрос: сколько необходимых изменений может вытерпеть архитектурное сооружение, если, будучи памятником, оно должно быть законсервированным в своей исторической идентичности, хорошо поддающейся определению с точки зрения истории архитектуры. Третья трудность вытекает из второй. Всякий акт консервации, целью которого является охрана памятника, оставляет для будущего не законсервированное прошлое как таковое, а скорее, современный уровень достижений практики консервации.

Сложность защиты от чрезмерного усердия в деле охраны памятников проистекает не из особенностей определенного настроя, упивающегося всяческой стариной. Скорее она является результатом объективного возрастания множества культурных благ, способных рассматриваться в качестве памятников в ходе прогрессирующего развития. Это верно как во временном, так и в пространственном отношении. Стремительное развитие техники и экономики превращает в реликты не только здания, но и целые инфраструктурные системы. Причем происходит это за все более короткие промежутки времени и охватывает все большее пространство. Это относится, например, к транспортной инфраструктуре. В одной из своих работ я рассматривал этот процесс в другом контексте на примере каналов, расположенных на болотах и торфяниках в северо-западных немецких, а также голландских поселениях[6].

[6] Ср. *Lübbe H.* Geschichlsbegriff und Geschichtsinteresse... (См. примеч. 2.) S. 40 и далее.

Эти каналы, многие из которых были проложены еще в XVIII в., совершенно невозможно приспособить к тем новым техническим требованиям, которые и сегодня все еще делают экономически оправданной транспортировку грузов по водным путям. Расстояния, на которые осуществляются массовые перевозки, а также размеры судов превышают по масштабу возможности старой системы, по меньшей мере, десятикратно. В результате старая система теряет транспортно-хозяйственное значение и приходит в упадок[7]. Между тем реликты системы каналов начинают претендовать на статус памятников! А это означает, что они подвергаются консервации (если сохраняют первозданную форму) или же (в противном случае) реставрируются. При этом, правда, действует правило, согласно которому памятник архитектуры (в данном случае — памятник транспортной архитектуры, специфический для особого типа поселений, расположенных на болотах) «будет утрачен... при отсутствии использования»[8]. В случае с рассматриваемым примером также имеет место такое вторичное использование. Оказалось, что система каналов привлекательна для туристов, проводящих досуг в водных путешествиях. Само собой разумеется, что ожидаемая от туризма прибыль не сможет покрыть издержки, связанные с уходом за этими памятниками. Речь здесь идет о финансовых издержках, которые общество, достаточно богатое для того, чтобы позволить себе содержать все большее число памятников, покрывает из общественных бюджетов. Местные общины, осуществляющие инвестиции в свои памятники, делают это в надежде на получение доходов от туризма. Но даже если стоимость издержек не возрастает, такие расходы могут осуществляться лишь с согласия членов общин. В остальном же средства на покрытие этих издержек предоставляются соответствующими бюджетными программами отдельных земель.

Пока все замечательно. Однако возникает вопрос, сколько реликтов этих транспортных систем будет в качестве памятников подвергаться консервации и, более того, реставрации? Ведь только на небольшом ареале, площадь которого даже не превышает тысячи квадратных километров, располагается почти дюжина прежде самостоятельных поселений такого рода. В наше как никогда прежде соотнесенное с прошлым время мы легко согласимся с тем, что одно из этих поселений вместе с окружающими его остатками каналов станет памятником. Предположим, речь идет о системе, наилучшим образом сохранившей прежнее состояние и в то же время благодаря современной скоростной системе водных сообщений предоставляющей наилучшие возможности для приезда и отъезда ностальгирующих туристов, на которых здесь рассчитывают. Такой законсервированный и отреставрированный памятник имел бы смысл образцо-

[7] Ср. *Bünstorf J.* Die Ostfriesische Fehnsiedlung als regionaler Siedlungsformtypus und Träger sozial-funktionaler Berufstradition. Göttinger Geographische Abhandlungen. Heft 37. Göttingen, 1966, особенно S. 132 и далее.

[8] *Maier H.* Was zu tun ist — zugleich eine Einführung // Maier H. (Hrsg.). Denkmalschutz. Internationale Probleme — Nationale Projekte. Zürich, 1976. S. 7–19, S. 12.

вого примера, и если бы мы им удовлетворились, то получили бы возможность свободно обходиться с другими реликтами в зависимости от целесообразности. То есть засыпать старые каналы (если они еще сохранились и не были засыпаны ранее), сооружать на их месте широкие скоростные магистрали, или — коль скоро актуальным является так называемое воссоздание — узкие улочки, которые тогда будут окаймлены соответственно увеличенными палисадниками прилегающих к ним домов.

Но что может заставить ограничиться одним-единственным образцовым объектом ту волю к охране памятников, что исходит из способности и даже из обязанности установления согласия по поводу этих вопросов? Допустим, в условиях нашей динамичной цивилизации мы стремимся максимально сохранить в качестве памятников реликты предшествующих цивилизационных эпох, превратив их в часть современной жизненной среды. Но почему эмоционально-духовная выгода от этого достается жителям только одного поселения на болоте, выбранного за образец и превращенного в памятник, и не достается на долю всех прочих граждан, которые продолжают жить среди приходящих в упадок или уже разрушившихся реликтов минувших эпох? В результате связанный с охраной памятников активизм распространяется подобно лихорадке, и атмосфера музея устанавливается над всеми культурными ландшафтами. Компетентные политические и административные инстанции, поначалу поощрявшие этот активизм морально и финансово, вскоре замечают здесь некоторый перебор. И замечают они его не только из-за достижения предела финансируемости. Они замечают это также и по возрастающей неготовности граждан брать связанные с этим ограничения на себя, поскольку жители деревни в высшей степени реально зависят от тех условий жизни, актуальный смысл которых связан с представлением о том, что мы имеем дело с памятником. Разве должно быть так, чтобы улица, на которой живет человек, оставалась плохо приспособленной для движения транспорта, поскольку ее нельзя расширять за счет подвергшегося консервации канала? Неужели можно мириться с тем, что собственный старый жилой дом, заменить который новым у вас на протяжении четверти века не доходили руки или не было возможности, неожиданно включается в список памятников? Придется ли вам по душе влачить жизнь обитателя памятника только для того, чтобы создавать настрой другим жителям этой деревни и тем более туристам? Излишне продолжать такого рода вопросы. Они ясно демонстрируют, что охрана памятников, которая в настоящее время компенсирует нам бремя модернизации, влечет за собой и последующие затраты, причем финансовые еще и безобиднее остальных. Неожиданно становятся ощутимыми границы, за пределами которых чрезмерная забота о памятниках становится назойливой, и мы переживаем эпоху такой назойливости.

Не в последнюю очередь это относится и к эстетической стороне вопроса. Нужен пример? Окна старых домов в поселениях рассматриваемого здесь типа, разумеется, имеют переплеты. У таких окон, между тем, намного больше недостатков, чем достоинств. Несмотря на это, если дом возводится в поселении,

объявленном памятником, то новый застройщик принужден сооружать окна с переплетами, руководствуясь благими целями охраны памятников. Между тем стоимость производства таких окон просто неприемлема, и в качестве выхода предлагается имитировать внешний вид окон с переплетами с помощью пластиковых наклеек. Достаточно однажды оглядеться вокруг себя, чтобы тотчас обнаружить множество такого рода имитаций, — это ошеломляющий опыт. Он связан с эстетикой копий в сфере охраны памятников, которые неизбежно будут плохими в силу экономии издержек. Занимающиеся охраной памятников профессионалы, разумеется, стараются воспрепятствовать этому, действуя на высших уровнях власти. Однако отличающее динамичную цивилизацию превращение ее достижений в памятники далеко опережает способность профессионалов, занятых охраной памятников, контролировать этот процесс и управлять им. И все это происходит на фоне трогательного усердия быстро растущего числа домовладельцев, которые, надеясь на прирост престижа или стоимости, берут в собственные руки процесс превращения своей собственности в памятник, не жалея красок и обильных реквизитов, смысл которых состоит лишь в том, чтобы превратить собственность в носитель привлекательного качества «старинности».

Более всего вызывает визуальное неприятие вид деталей, которые соответствуют старому образцу, но явно не несут ни малейшей функциональной нагрузки и в силу этой нефункциональности являются еще и дисфункциональными. Музей, разумеется, представляет собой место, где хранятся утратившие функциональность реликты цивилизации, что особенно характерно для музеев технической направленности. Но никто не считает компьютер последнего, седьмого поколения нефункциональным, хотя именно в целях демонстрации того, что он таковым когда-нибудь станет, его помещают в музей. Его экспонирование в зале новейших достижений, где размещаются устройства обработки данных, выполняет в музее техники единственную функцию — сохранить возможность для исторического изучения этого компьютера. Однако охрана памятников направлена не на защиту музейного достояния. Она, напротив, берет под защиту ту старину, которая сохраняет полезность и жизненность. Именно это позволяет нам выдвигать эстетическое требование возможности распознавания в законсервированном памятнике — коль скоро он представляет собой нечто большее, чем экспонат музея под открытым небом, — его собственной актуальной полезности. Но именно это требование грубейшим образом дезавуирует замечательную во всех прочих отношениях копию какого-нибудь старого подъемного моста над рекой или каналом, по которым в силу сложившихся обстоятельств больше не ходят ни корабли, ни лодки, и, таким образом, этот мост уже не используется в качестве подъемного. Зачем же строить подъемный мост, которым нельзя пользоваться (хотя бы в качестве функционального элемента памятника транспортной системы)? Сегодня такое происходит и можно говорить о расплывчатости границ между охраной памятников и музеефикацией. Мы с удовольствием посещаем музеи, но не для того, чтобы в них жить. Именно мысль о музее льстит жителям деревни-памятника, которые, отправ-

ляясь в город на работу и возвращаясь с нее, пользуются этим подъемным мостом. Неприятие же этой лестной мысли приобретает в данном случае форму эстетического отторжения[9].

Пример с поселениями на болотах, иллюстрирующий тенденции к чрезмерности в современной охране памятников, был выбран произвольно. Его можно дополнить аналогичными. Взять хотя бы случай, когда рабочие поселки превращаются в памятники после ликвидации шахт или металлургических заводов, для обслуживания которых они когда-то были созданы. Или возьмем здания старых церквей, принадлежавших различным церковным общинам, численность которых в настоящее время сократилась до десятой части их первоначальной величины по причине миграции или в силу процесса секуляризации. Забота об охране памятников лишает всякой функциональности эти церкви, ценность которых в качестве памятников архитектуры невысока, и превращает их в мастерские, жилища или выставочные залы. Идет процесс повсеместного превращения обширных территорий в архитектурные реликты, причем происходит это в относительно короткое время, что обусловлено динамикой нашей цивилизации. Требования консервации этих реликтов продиктованы заботой об охране памятников. Речь же здесь идет о границах выполнимости этих требований, которые мы ощущаем, сталкиваясь с неприятными последствиями перехода за эти границы.

В качестве второй трудности, с которой сталкивается охрана памятников, была упомянута неразрешимая в конечном счете проблема консервации исторической идентичности архитектурного наследия прошлого, которое, сохраняясь в качестве памятника, используется с новыми целями, а не является музейным, т.е. функционирующим по-новому экспонатом. Эту проблему без напряжения удается решить только в случае, если целью реставрации памятника является именно превращение его в музей. Именно таким образом существование превращенного в музей Дома Гёте во Франкфурте не преследует, очевидно, никаких целей, которые могли бы идти вразрез с его существованием в качестве копии дома, разрушенного во время войны. Его функция как музея состоит исключительно в репрезентации качества старинности. Правда, в данном случае также не нужно строить никаких иллюзий насчет успешности такой репрезентации. Качества старинности[10] также устаревают, что связано в первую очередь с изменениями в ходе истории самой рецепции, ведущими к угасанию исторического

[9] «Невежественные поклонники китча разрушают нашу родину» — так гневно отреагировал швейцарский архитектор Рудольф Ольджиати на «смерти подобное восстановление площади Аркад в Куре». Об этом сообщение Серайны Гауденц: Die Weltwoche. 1990. 1. März. Nr. 9. S. 77. Аналогичные выражения недовольства в Германии см. здесь: *Hackelsberger Ch.* Gefährliche Gemütlichkeit // Süddeutsche Zeitung. 1987. 1. Februar. Nr. 35. S. III.

[10] Выражение «качество старинности» как общепринятый термин введено Алоизом Риглем. См. *Riegl A.* Neue Strömungen in der Denkmalpflege // Dehio G., Riegl A. Konservieren, nicht restaurieren. Streitschriften zur Denkmalpflege um 1900 / mit einem Kommentar von M. Wohlleben und einem Nachwort von G. Mörsch. Braunschweig; Wiesbaden, 1988. S. 104–119, S. 114.

интереса и возникновению интересов иного рода. Таких изменений можно не опасаться в случае с домом, где родился классик Гёте. Однако тот, кто требует от превращенного в музей памятника сохранения оригинальности также и в отношении материалов, столкнулся бы с трудностями освоения особого рода опыта. Последний заключается в том, что музейное строение, копирующее в своем облике некий оригинал, есть не что иное, как материализация исторически реконструируемого плана строительства, выполнение которого неизбежно принуждает обходиться по большей части современными строительными материалами, даже если это и специально произведенные материалы, наделенные качеством старинности.

Но если отвлечься от трудностей такого рода, для восприятия которых требуется, по меньшей мере, специальный навык, то можно сказать, что в превращенном в музей памятнике архитектуры качество старинности и функция этого памятника все же совпадают. Зато в случае построек, которые приобрели статус памятника и были взяты под защиту без намерения превратить их в музей, качество старинности и функция с неизбежностью расходятся. Именно это несовпадение придает своеобразный характер впечатлению, которое оставляют у нас уже упомянутые в качестве примера три примыкающих друг к другу дома с фронтонами на деревенской площади, позади хорошо сохранившихся фасадов которых находится занимающее обширную территорию предприятие бытового обслуживания или супермаркет. Мы не утверждаем, что это несовпадение является невыносимым. Ведь консервация или, тем более, реставрация рассматриваемых фасадов отвечает желанию граждан. На достижение этого результата были направлены гражданские инициативы, и организация, использовавшая три старых деревенских дома для своих деловых нужд, пошла на большие расходы, необходимые для поддержания внешнего вида этих фасадов. Тем не менее нельзя избежать бросающегося в глаза несоответствия между качеством старинности и потребительской полезностью этого объекта, взятого под защиту организацией по охране памятников. Только фронтоны и создают впечатление, будто здесь все еще находятся три дома. В действительности же речь идет об историзирующей иллюзии, порождаемой строением из стали и бетона. Эффект иллюзии только усилится, если нам доведется узнать, что при возведении этого нового здания фасады — вопреки первоначальному намерению — сохранить не удалось. Их пришлось вывезти отсюда как строительный мусор, поэтому постройка, предстающая нашему взору, является не чем-то действительно старым, а заново воссозданным старым. Если, кроме того, заметить, что крылечки с остроконечными крышами, примыкающие к фасадам домов с фронтонами, даже не могут использоваться размещенным в этом здании предприятием службы быта; что на противолежащей по отношению к главной площади стороне здания находятся пристройки с плоской крышей; что, наконец, весь ансамбль утратил всякую прежнюю связь с землей и теперь располагается на крыше подземного гаража, — то в таком случае мы достигнем границы, за которой наше все еще преобладающее согласие с результатами направленных на защиту памятников стремлений к сохранению

старины резко переходит в неприятие усилий к тому, чтобы за счет любых эстетических издержек поддерживать связь между качеством старинности и функциональностью.

Вспомним наш пример с остатками расположенного на торфяниках канала, получившего статус памятника. Разве не лучше будет отказаться от нефункциональных атрибутов подъемного моста и вместо этого проложить здесь скоростную магистраль, которая в таком случае проходила бы по неброскому мосту, лишенному свойств муляжа? Как раз этот пример гротескно подчеркивает то, о чем здесь в действительности идет речь. Мост шириной в скоростную магистраль, но оформленный при этом как подъемный, выглядел бы подобно современной спортивной машине, готовой участвовать в гонках, но стилизованной под старинное авто. Такого рода вещи существуют, разумеется, уже давно. Но они вызывают у нас определенное раздражение и даже недоумение, которое в конечном счете распространяется и на владельцев подобных творений. Именно такое раздражение вызывает у нас сегодня растущее число случаев, связанных с охраной памятников.

Аналогичные примеры можно продолжать бесконечно. О «мемориальном бешенстве» говорят с тех пор, как после образования Германской империи в последней трети XIX столетия в бесчисленных географически приметных местах начали возводиться памятники кайзеру Вильгельму и Бисмарку[11]. Между тем можно говорить и о «бешенстве», связанном с охраной памятников. Причем это «бешенство» связано не только с уже описанной обременительностью. Его можно использовать и к собственной выгоде, например для обхода тех планов застройки, которые — не в последнюю очередь из соображений сохранения ландшафта — не допускают возведения новых жилых построек на открытом сельском пространстве. В таком случае вы можете взять на попечение потерявший функциональное значение реликт старой крестьянской архитектуры — старый амбар, крестьянскую хибару, дом косаря или даже ветряную мельницу, — возложив на себя обязанности по поддержанию их фасадной части. В остальном же этот объект может функционировать как наилучшим образом соответствующий ландшафту жилой дом, мастерская или пансионат. Этот процесс в настоящее время принял характер массового движения. Органы власти не только не препятствуют, но даже содействуют ему, так как только так можно изыскать средства для прекрасной цели, состоящей не только в том, чтобы в отдельных случаях законсервировать реликты крестьянской архитектуры в музеях под открытым небом, но и, напротив, сохранить их на местах изначального расположения[12]. Благодаря движению за охрану памятников наш сельский ландшафт, по сельскохозяйственным и техническим причинам с конца Второй

[11] С этим ср. *Nipperdey Th.* Wie das Bürgertum die Moderne erfand. Berlin, 1988. S. 17 и далее.

[12] «Не растаскивать по музеям» — так звучит соответствующее требование сторонников охраны памятников. См. *Schwinge R.F.* Orte des Lebens? — Die Erhaltung des ländlichen Bauerbes // Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen. 1989. März. Jahrgang 9. Heft 1/89. S. 53–55, S. 53.

мировой войны изменявшийся быстрее, чем когда бы то ни было прежде, приобрел сегодня внешний лоск. Но похвалить его может только мимолетный наблюдатель, находящийся здесь проездом. Если всмотреться более пристально, то несовпадение качества памятника и функциональной ценности слишком бросается в глаза. Кто не порадуется хорошо сохранившейся деревне с круговым расположением дворов? Но при этом никак не получается совладать с тем впечатлением, которое вызывают у наблюдателя ворота в крестьянский двор, первоначально предназначавшиеся для въезда телег, а теперь превратившиеся в полностью застекленную, светопроницаемую часть художественной мастерской. Крыши ветряных мельниц, продырявленные окнами жилых домов, воздействуют таким же образом. Превращение стойл старого коровника в самые удобные места претенциозного ресторана также остается весьма щекотливым предприятием.

Можно было бы назвать это эффектом «невиданной зверушки». Нам известны шуточные комбинации видовых атрибутов существ, принадлежащих к различным и исключающим друг друга эволюционным рядам, — эта забавная продукция является побочным и случайным результатом работы таксидермистов. Такой фенотип включает нежизнеспособный набор функций. Если нас впервые удивили таким изделием, то мы можем развеселиться, но если от нас потребуется то же самое вторично, мы будем возмущены. Охрана памятников вызывает такое же возмущение в случаях, когда напряжение между качеством старинности и функциональностью становится чрезмерным.

Конечно, можно сказать, что произведения архитектуры уже в силу продолжительности их существования лишь в исключительных случаях могут долгое время служить тем же целям, для выполнения которых они первоначально предназначались. Архитектурные сооружения постоянно подвергаются изменениям, в некоторых случаях имеющим эволюционный характер. Это означает, что они, оказавшись под давлением изменений в техническом, хозяйственном, социальном и культурном окружении, бывают вынуждены приспосабливаться. Если им это не удается, то они обречены на исчезновение. Поэтому сохранившиеся до настоящего времени старые сооружения никогда не сохраняются в первозданном виде. Они представляют собой, скорее, продукт истории приспособления, т.е. ансамбль, сложившийся в самые разные эпохи в результате перестроек, пристроек, воссозданий и ремонтных работ. Поэтому справедливо, что всякое старое архитектурное сооружение находится в напряженных отношениях со своей нынешней функцией. Но это напряжение, как мы видим, устанавливается между старыми, исчезнувшими функциями, когда-то выполнявшимися определенным зданием, и актуальными функциями, к выполнению которых оно приспособилось в результате процессов архитектурной трансформации. Результат этого процесса приспособления, если он проходит благополучно, обыкновенно приносит и эстетическое удовлетворение. Напротив, охрана памятников требует от архитекторов результатов принципиально иного характера. Речь идет не о сохранении преемственности между старыми и новыми функциональными возможностями архитектурного сооружения, а

о том, чтобы законсервировать совершенно новую функцию, никогда не существовавшую в эпохи, предшествующие модерну, т.е. еще не затронутые историзацией, — функцию носителя качества старинности, совместив ее при этом с современными потребительскими функциями. И это выполнимая задача. Но уже пафос, с которым успешные попытки такого рода обычно превозносятся в фельетонах по архитектуре, свидетельствует об уготованных здесь трудностях. При этом растет число случаев, когда архитектура терпит неудачу, пытаясь решить задачу создания убедительного архитектурно-эволюционного единства, сочетающего качество старинности с современной функциональной ценностью. Для неясного эмоционального впечатления, вызываемого нашим архитектурным ландшафтом, в настоящее время подобрали термин «постмодерн». Точнее говоря, описанный эффект возникает в той постмодернистской атмосфере нашей жизни, которая в культуре модерна складывается из-за автономизации функции актуализации прошлого. Впоследствии мы еще вернемся к этому вопросу[13].

Третья упомянутая трудность, связанная с охраной памятников, также имеет принципиальный характер. Она состоит в том, что охрана памятников позволяет сохранить для будущего памятники прошлого, лишь наслаивая на них практику реставрации или даже консервации. Следовательно, если выражаться точнее, для будущего сохраняется не памятник прошлого, а феномен, образовавшийся в результате смешения этого памятника с мероприятиями по его охране. Понимание этого уже в начале XX в. совершило «Коперниканский переворот» в охране памятников: мы должны заниматься не реставрацией, а консервацией. Это положение актуально и по сей день[14]. Было ли окончание строительства башен кафедральных соборов в Кёльне, Ульме или Берне завершением того проекта, который растянулся на изрядно долгий срок, а именно на несколько столетий? Очевидно, нет. Речь идет, скорее, о процессе, в ходе которого тогдашняя современность зафиксировала себя в дошедших до нее в незавершенном виде произведениях архитектуры, историзировав их. Эти здания рассматривались в то время как памятники национальной культуры[15], и достраивались в качестве таковых. Это был не ответ на вызов, который предлагает недостроенное произведение архитектуры, а, как полагали современники, продиктованное долгом выражение почтения памятнику, который именно в силу этого приобрел облик, документирующий преимущественно тогдашнюю эпоху. Оценка такого процесса — дело довольно щекотливое. Георг Дехио, подобно другим теоретикам того времени, считал результат этого процесса невыносимым и пришел к следующему выводу: необходимо «отказать-

[13] Ср. наст. изд., с. 77 и далее.

[14] Ср. *Mörsch G.* ... und heute? Georg Dehio und Alois Riegl, 1987 gelesen // Dehio G., Riegl A. Op. cit. (См. примеч. 1.) S. 120–125.

[15] С этим ср. *Nipperdey Th.* Nationalidee und Nationaldenkmal in Deutschland im 19. Jahrhundert // Nipperdey Th. Gesellschaft, Kultur, Theorie. Gesammelte Aufsätze zur neueren Geschichte. Göttingen, 1976. S. 133–173.

ся от мысли о восстановлении отсутствующих на сегодняшний день частей» исторического памятника архитектуры, «ограничиваясь только сохранением наличного»[16]. По его словам, «обновление памятников» — это не сохранение памятников, а новое строительство, в процессе которого используются дошедшие до нас остатки старых построек. На практике это обновление памятников архитектуры реализуют исторически вышколенные архитекторы, а результатом их деятельности является «самое унылое варварство — варварство ученое»[17].

Но если архитектурные произведения, наделенные качеством старинности, дошли до нас в виде руин или недостроенными, должна ли в таком случае «забота о памятниках», по контрасту противопоставленная «обновлению памятников», побуждать нас к их консервации? К такому выводу действительно можно прийти. Однако делать механические выводы не рекомендуется никогда, и этот случай — не исключение. Это объясняется уже тем, что по очевидным причинам во многих случаях «наилучшая консервация» недостроенного или дошедшего до нас в виде руин сооружения «состоит именно в реставрации»[18].

Так или иначе, но в этих аргументах, детали которых нас здесь не касаются, родилось понятие «ценность руин»[19]. В противоположность отреставрированному, точнее говоря, восстановленному или достроенному историческому архитектурному сооружению, руины аутентично репрезентируют качество старинности некоторого здания. Но при ближайшем рассмотрении здесь также обнаруживается иллюзия. Ведь поборник консервативного историзма, предпочитающий сохранившиеся в неизменном виде руины отреставрированному облику дошедшего до нас в развалинах исторического произведения архитектуры, также наслаивает — хотя поначалу и не столь заметно — на оригинальные развалины собственную практику консервации. Можно даже сказать и так: в более долгосрочной перспективе его действия выглядят даже непригляднее, чем действия реставратора. Последний, по крайней мере, восстанавливает превратившиеся в руины исторические здания, и работы по восстановлению этих сооружений по своей прагматике соответствуют усилиям по их поддержанию, какие мы должны прикладывать для дальнейшего сохранения их полезности. Если мы рассматриваем отреставрированное историческое здание, то в долгосрочной перспективе могут исчезнуть даже пугавшие Дехио несоответствия между, с одной стороны, «с иголочки» новыми, т.е. отреставрированными частями здания, а с другой — выброшенны-

[16] *Dehio G.* Was wird aus dem Heidelberger Schloß werden? (1901) // Huse N. (Hrsg.). Denkmalpflege. Deutsche Texte aus drei Jahrhunderten. München, 1984. S. 108–115, S. 109.

[17] Ibid. S. 111.

[18] Цитату приводит Алоиз Ригль со ссылкой на Бодо Эбхардта. См. *Riegl A.* Neue Strömungen in der Denkmalpflege // Dehio G., Riegl A. Op. cit. (См. примеч. 1.) S. 104–119, S. 114.

[19] Ibid.

ми при реставрации аутентичными старыми частями этого памятника архитектуры[20].

Разумеется, в то время, т.е. в начале XX столетия, когда применительно к охране памятников только возник спор по вопросу «реставрировать или консервировать?», еще не сформировалось достаточного представления об ускоряющей процессы старения силе, возникающей в агрессивной атмосфере индустриального общества. И поэтому Дехио мог опасаться того, что после реализации планов начальника баденского строительного совета Шефера, руководившего реставрацией дома курфюрста Отт-Генриха в Гейдельбергском замке, новое старое будет на протяжении неопределенно долгого времени тягостным образом бросаться в глаза на фоне остатков старого старого. Но опыт, который мы к настоящему времени приобрели, имея дело с процессом старения отреставрированных зданий, в значительной степени рассеивает опасения, возникавшие 90 лет назад. По крайней мере, профан, посещающий соборы в Кёльне или Ульме, совершенно не замечает различий между строительными материалами, из которых сооружены старые и отреставрированные части этих зданий. Сюда следует добавить, что материал оригинальных, старых элементов этих архитектурных сооружений все в большей мере заменяется новым. Таким образом, в здании в целом выравниваются возрастные различия строительных материалов.

Всего этого еще нельзя было заметить на рубеже XIX–XX вв. Располагая этим опытом, мы теперь менее, чем тогда, уверены, что консервация руин предпочтительнее их реставрации. Руины — именно в эпоху ускоряющегося разрушения — это не разрушившиеся, а, скорее, разрушающиеся здания, и усилия по консервации руин направлены на сдерживание этого разрушения. И мы вправе ожидать приложения таких усилий к законченному или же к восстановленному в ходе реставрации произведению архитектуры. Прилагать такого рода усилия к развалинам в буквальном смысле — дело еще невиданное, по крайней мере с точки зрения истории архитектуры. Поэтому, чтобы их оценить, необходимо хорошо ориентироваться в идеалах авангарда. В свою очередь, без такой ориентации консервация руин — дело довольно сомнительное, хотя и по другим причинам, нежели реставрация[21]. Осматривая остатки башни церкви памяти кайзера Вильгельма в Берлине, мы видим ошеломляющую, демонстрирующую высочайшее профессиональное мастерство работу жестянщиков и других специалистов, изготовивших детали из меди, водосточные желоба и свинцовые за-

[20] Последнее названное здесь обстоятельство служит лишь одним из многочисленных факторов, под влиянием которых непрерывно изменяются теории и концепции охраны памятников. Это, пожалуй, позволяет понять, почему «история охраны памятников» в целом не может быть «историей успеха»: если нам всегда только задним числом известно то, что следовало бы знать наперед, то каким образом результаты деятельности по охране памятников в прошлом могут удовлетворять нас сегодня? См. *Wohlleben M.* Konservieren oder restaurieren? Zur Diskussion über Aufgaben, Ziele und Probleme der Denkmalpflege um die Jahrhundertwende. Zürich, 1989. S. 15.

[21] О критике эстетики руин см. *Wyss B.* Jenseits des Kunstwollens // Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege. 1986. Jahrgang XL. S. 1–8.

ливки, позволяющие защитить кирпичную кладку от разрушительного воздействия всепроникающей воды. Все это в данном случае предназначено именно для защиты руин. С этим можно смириться, так как это строение играет роль политического символа. Но именно политические спекуляции с ценностью руин определенного здания и являются принципиально сомнительными. Если мы возьмем огромные сооружения Третьего рейха, то, как известно, материал для их строительства был выбран так, чтобы даже после разрушения их ценность как руин также была очень высока. Ведь Третьему рейху предстояло просуществовать не менее тысячи лет. Будущим же развалинам возведенных в это время построек, состоящих по большей части из гранита, на протяжении еще пяти тысяч лет предстояло напоминать о Третьем рейхе, которому, как считали в том числе и его идеологи, однажды уготована участь стать достоянием истории. В силу долговечности строительного материала эти руины должны были придавать воспоминаниям наглядную полноту даже в случае, если бы никто не занимался их консервацией. Спустя уже почти полвека после гибели Третьего рейха именно это обстоятельство делает сомнительными планы по сохранению в руинах — без всякой консервации — дошедших до нас развалин его архитектурного наследия в Нюрнберге. В соответствии с планами по сохранению этого наследия в руинах их ничем не сдерживаемое разрушение должно напоминать нам об изначальной одержимости Третьего рейха идеей гибели[22]. Эти планы исходят из допущения, что процесс разрушения будет достаточно быстрым. Но сначала следовало бы проверить, не состоят ли эти развалины, выбранные для символизации одержимости Третьего рейха идеей гибели, в основном из материалов, уже подобранных с учетом той ценности, какую они будут нести как руины. Ведь в последнем случае именно долговечность и прочность руин, не подвергшихся консервации, будет идти вразрез с предполагаемым напоминанием об этой идее гибели, заключенной в Третьем рейхе.

Можно было бы продолжать приводить примеры, иллюстрирующие парадоксы охраны памятников, нацеленной на актуальное сохранение прошлого для будущего. Речь при этом всегда идет о том, что акт реставрации или консервации накладывает на случайно дошедшее до нас старое именно тот отпечаток озабоченной охраной памятников современности, который делает достоянием будущего актуальную на тот или иной момент практику сохранения. Впредь эта практика сливается со случайно доставшейся нам стариной, наделенной ценностью памятника. Совершенно наивно, а потому и недвусмысленно такая взаимосвязь выражена в меморандуме об охране памятников Шинкеля 1815 г. Обращаясь к представителям «охранной депутации», он пишет: «Достойное чествование наших национальных сокровищ было бы самым прекрасным па-

[22] В одном сообщении о планах жителей Нюрнберга относительно «построек фюрера» говорится: «Размышляющие историки и архитекторы полагают, что эти архитектурные сооружения будут единственным памятником жертвам трагических событий, намеренно оставленным для саморазрушения, чтобы символизировать бренность тирании», см. *Schmitt P.* Das Erbe des Dritten Reiches. Der “braune Stempel” soll nicht verdrängt werden // Süddeutsche Zeitung. 1989. 6. Februar. Montag. Nr. 30. S. 17.

мятником, который может воздвигнуть себе современная эпоха»[23]. Так в действительности и произошло. Соборы, завершение постройки которых определялось намерением создать из них полноценные памятники, возвышаются сейчас перед нами, не в последнюю очередь и как памятники эпох, движимых этой прекрасной целью заботы о памятниках. И так происходит всегда: деятельность по консервации обеспечивает не только передачу потомкам качества старинности. Одновременно она преобразует эти качества и превращает их в свидетельства соответствующей эпохи, которая затем — из перспективы отдаленного будущего — воспринимается как минувшая эпоха изменчивой истории защиты памятников. Это означает, что возможность полного понимания современного облика исторического произведения архитектуры, дошедшего до нас не просто как историческое здание, но, скорее, как объект предшествовавшей заботы о памятниках, требует не только знания архитектурного и культурно-исторического контекста его возникновения, но и знания истории охраны памятников, придавшей этому историческому сооружению его современный облик. Сюда относится и знание об утратах и ущербах, нанесенным этому архитектурному произведению предшествовавшей охраной памятников[24].

Разумеется, опыт и знание, необходимые для исторически адекватного восприятия окружающих нас памятников архитектуры[25], предполагают профессиональную подготовку. В той мере, в какой нам недостает таких профессиональных способностей восприятия, а также в зависимости от того, насколько велика обусловленная нашим образованием способность улавливать исторические детали, различия в окружающей нас законсервированной старине исчезают, и она погружается в расплывчатое «качество старинности». Сказано это не из соображений критики культуры. Тому же Шинкелю принадлежит высказывание о том, что важнее всего в деле охраны памятников. Дело в том, что процессы устаревания комплементарны по отношению к процессам модернизации, и если бы мы, подобно людям, не затронутым историзмом, безразлично наблюдали за гибелью и разрушением старины, то «в скором времени мы бы с жутью почувствовали себя нагими и беспомощными, как колонисты, поселившиеся в прежде не обитаемом крае»[26].

Теоретическая квинтэссенция этого замечания, как мне представляется, состоит в следующем. Возрастающая динамика процесса модернизации ускоряет диффузию достижений модерна в пространстве. Облик культуры, в которой мы живем, становится все более гомогенным, стирая прежние различия, свя-

[23] *Schinkel C.F.* Memorandum zur Denkmalpflege (1815) // Huse N. (Hrsg.). Op. cit. (См. примеч. 1.) S. 70–73, S. 71 и далее.

[24] Об истории ликвидации прошлого в ходе мероприятий по охране памятников см., например: *Mörsch G.* Verluste durch Denkmalpflege im 19. Jahrhundert // Unsere Kunstdenkmäler. Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte. 1981. XXXII/1. S. 31–42. Об утрате памятников вследствие пуризма их защитников см. *Berger-Keweloh N.* Die mittelalterlichen Dome im 19. Jahrhundert. München, 1986. S. 164 и далее.

[25] Ср. с примером образцовых описаний такого рода в книге: *Boockmann H.* Die Gegenwart des Mittelalters. Berlin, 1988. S. 24 и далее.

[26] *Schinkel C.F.* Op. cit. (См. также примеч. 1.) S. 70.

занные с происхождением (Herkunftsdifferenzen) этой культуры[27]. И именно в противодействии этому эффекту, который, вслед за Шинкелем, можно назвать колонизацией нашей культуры ускоряющимся модерном, и состоит, по-видимому, смысл охраны памятников, пронизывающий ее различные эпохи. Результаты ее деятельности по консервации и реставрации наглядно демонстрируют, что процессы ускоряющейся цивилизационной эволюции не в последнюю очередь являются процессами ускоряющегося превращения нового в старое. Спасенное от исчезновения, подвергнутое консервации старое сдерживает ту ограниченность, которая ради будущего — с заботы о котором начинается всякий прогресс — привела бы к забвению того, что на темпоральной изнанке этого процесса исторически беспримерным образом все быстрее производится прошлое.

[27] О гомогенизации как следствии цивилизаторской динамики говорит также Филипп Арьес. См. *Ariès Ph.* Zeit und Geschichte / aus dem Französischen von P. Duttke. Frankfurt am Main, 1988. S. 258 и далее.

1.3. *Историзированный модерн или постмодерн*

Благодаря практикуемой ныне системе охраны памятников мы попадаем в городе и в сельской местности в небывалый и в точном смысле этого понятия — в специфически модерновый архитектурный ансамбль. Перед нами порождения историзирующей реставрационной архитектуры, которая (главным образом в XIX в.) окончательно завершила незавершенное или восстановила то, что превратилось в руины. Позднейший, более последовательный историзм отверг подобный метод реставрации и выдвинул на его место более скромную практику консервации, которая сохраняет как таковое то, что дошло до нас в незавершенном виде или в виде руин. И наконец, прогресс в охране памятников, в свою очередь, привел к историзации выдающихся достижений реставрационной архитектуры. С той поры практика консервации руин уже давно включает в свою сферу и те руины, которые дошли до нас не в виде развалин некогда завершенного сооружения, а в виде находящегося под угрозой разрушения архитектурного наследия той эпохи, которой нравилось заполнять парковые ландшафты новодельными руинами. Идеалы чистоты стиля при реставрации издавна и по праву считаются в сфере охраны памятников неисторичными. Но столь же неисторичным было бы превращать результаты старой работы по охране памятников, все еще ориентировавшейся на подобные идеалы чистоты стиля, в объекты воссоздания в ходе памятникоохранных мероприятий, например: в ходе реставрации вновь придавать барочный вид готике, которая в ходе прежней реставрации была лишена барочных элементов. Так что нам остается, сохраняя верность историзму, поддерживать отреставрированную готику, сделанную в чистом стиле, а там, где ей опрометчиво вновь вернули барочный стиль, — также и этот результат памятникоохранного воссоздания, которым стремились исправить иконоборческие последствия прежнего пуризма в деле охраны памятников.

Охрана памятников, по своему замыслу, консервирует архитектурные реликты, которые в динамике цивилизационной эволюции архитектурной жизненной среды создают ощущение непрерывности. Консервирующая и реставрирующая практика спасает старое от исчезновения. Именно этим она усиливает темпоральную неоднородность элементов архитектурного ансамбля, в котором мы живем. Плюрализм одновременно существующих элементов возрастает еще больше в результате того, что стремительно развивающаяся охрана памятников, в свою очередь, историзирует свои достижения вчерашнего и позавчерашнего дня. Вот почему именно охрана памятников не дает возможность ощутить единство нашей культуры. Напротив, она фиксирует свою историческую плюральность. То, что она считает объектами, одновременными в хронологическом плане, предстает как напластование реликтов. Данное об-

стоятельство и приводит к тому, что в спорных случаях, весьма, надо сказать, частых в практике охраны памятников, теряет силу аргумент, что объект не вписывается в ансамбль. Это должно было быть известно нынешнему владельцу жилого дома в Сент-Моритце, построенного архитектором Тессеновом[1] («Дом Бёлера», «Haus Böhler»)[2], который хотел снести этот дом, поскольку он не отвечал его планам использования территории, и для этого добивался одобрения жителей, выдвигая аргумент, что дом на этом месте представляет собой чужеродный единичный элемент и, таким образом, вовсе не может претендовать на охранные привилегии, которыми наше историческое чувство наделяет строения автохтонного характера. Понятно, ему возразили, что в Сент-Моритце для подавляющего большинства зданий не может быть и речи о какой-то автохтонной связи с культурным ландшафтом, и именно это обеспечивает архитектурную идентичность места. Однако же это не убедило суверена, т.е. народ, в этом решающем аргументе, мало того, суверен при голосовании отверг ходатайство о том, чтобы придать упомянутому дому статус охраняемого памятника. Но при этом следует предположить, что прагматизм этого решения вовсе не явился итогом взвешивания конкурирующих памятникоохранных точек зрения, а напротив, был обусловлен озабоченностью, что охрана памятников может нарушить — под влиянием модернизма, мешающего инновациям и отдающего предпочтение старому в противовес новому, — давнюю популярную практику: ради пользы и выгоды замещать старое новым.

Разумеется, в ходе ускоряющейся культурной эволюции количество одновременно присутствующих объектов в общем возрастает, даже не считая дополнений со стороны охраны памятников. Этот факт в глазах наших историков с незапамятных времен позволяет использовать города как наиболее подходящие образования для примерной демонстрации того, чем является исторический объект[3]. Ведь даже турист, неискушенный в истории, замечает, что в городах старше определенного возраста одновременно присутствуют реликты крайне непохожих друг на друга эпох развития города. И очевидно, что не существует никакого плана, да и немыслим такой план, который мог бы предстающий перед нами сегодня город объяснить как результат воли к планированию, и тем самым сделать его понятным. Это означает следующее: то, что мы фактически видим перед собой, можно объяснить чисто исторически, т.е. с помощью рассказа об истории городского строительства как истории непрерывной перестройки города, когда первоначальные функциональные элементы уже не подходят для новых потребностей и целей, которые не были, да и не могли быть предусмотрены, а потому либо изменяют свое назначение, либо подвергаются

[1] *Wangerin G.*, *Weiss G.* Tessenow Heinrich. Ein Baumeister 1876–1950. Leben, Lehre, Werk / Hrsg. von der H. Tessenow-Gesellschaft, mit einem Vorwort von W. Hofmann und einem Beitrag von S.E. Rasmussen. Essen, 1976.

[2] Ср. с этим: *Tessenow H.* Hausbau und dergleichen. Mit 137 Zeichnungen und Photographien eigener Arbeiten. 3. Aufl. Berlin, 1928. S. 148.

[3] *Schieder T.* Geschichte als Wissenschaft. Eine Einführung. 2. überarb. Aufl. München; Wien, 1968. S. 33.

процессу отбора и в результате превращаются в градостроительные элементы, имеющие характер реликтов. Чем динамичней протекает градостроительная эволюция, тем гуще становится плотность реликтов в той или иной актуальной градостроительной системе, и этот плюрализм темпорально крайне разнородных элементов, в виде ансамбля которых города являются нашему взгляду, умножается и — что свойственно именно модерну — еще более подвергается напластованиям в результате памятникоохранных и прочих мероприятий в духе историзма.

Плюрализация посредством историзации — вот процесс, который характерен для модерновых, динамических культур, а культурные эффекты, возникающие благодаря рефлексивной эстетизации этого процесса, мы окрестили «постмодернистскими».

Здесь мы не будет останавливаться на этом слове, избранном для обозначения эстетизированного плюрализма историзированной культуры, кроме того, не следует соблазняться и семантикой составных частей слова «пост-модерн», находя в нем любопытный парадокс: то, что в культурной эволюции находится на острие стрелы времени, т.е. актуальный модерн, оказывается постмодерном. Затем последовательность мысли, свободно движущейся в семантическом пространстве, вскоре привела бы нас к вопросу, как тогда обозначать то, что мы должны ожидать после постмодерна. В еще не иссякшем потоке литературы по постмодерну[4] нет недостатка в диагнозах, которые обнаруживают в постмодернизме признаки старения. Тому, кто не спешит с завершением своей программы по чтению, угрожает опасность обнаружить, что вслед за модерном в прошлое ушла уже и эпоха постмодерна, которую нам теперь предстоит заархивировать, подвергнуть историзации и, кроме того, еще и включить в программу защиты памятников ее архитектурное наследие.

В противовес подобным рефлексиям рекомендуется банализировать смысл слова «постмодерн». Будучи культурным самоназванием и заимствованным обозначением, «модерн» является тем не менее давно использующимся словом[5], кроме того, для искушенного читателя фельетонов со словом «модерн» соединяются представления, достаточно определенные в том, что касается дискуссии об архитектуре. Никто из этих читателей не затруднился бы назвать выдающиеся строения архитектурного модерна, причисление которых к солидному историко-архитектурному понятию модерна не составляло бы проблемы и для специалистов — от небоскреба «Сигрем Билдинг» (Seagram Building) в Нью-Йорке Миса ван дер Роэ до здания фирмы «Тиссен» в Дюссельдорфе — небоскреба из «трех пластин» (Dreischeiben-Hochhaus). В противоположность

[4] Репрезентативной работой, отмеченной пониманием эпохи, является книга: *Welsch W.* Unsere postmoderne Moderne. Weinheim, 1987. См. также сжатый «отчет о дискуссии» в: *Welsch W.* Postmoderne // Information Philosophie. 1987. 15. Jahrgang. Nr. 5. S. 20–31.

[5] О первоначальной функции этого обозначения см.: *Jauss H.R.* Ursprung und Bedeutung der Fortschrittsidee in der Querelles des Anciens et des Modernes // Die Philosophie und die Frage nach dem Fortschritt / H. Kuhn, F. Widmann (Hrsg.). München, 1964. S. 51–72.

этому мы находились бы в постмодерне, если бы упомянутая архитектура представлялась нам архитектурой какой-то прошлой эпохи. Прошлым является то, что нам является в преломлении исторического сознания, что невзирая на его модерновый характер явно несет на себе историческую печать и что, наконец, даже в этой историчности представляется нуждающимся в охране. В постмодерне пребывает тот, кто воспринимает наследие модерна как исторические памятники[6]. Для упомянутого в качестве примера небоскреба «из трех пластин» в Дюссельдорфе такое повышение до статуса исторического памятника уже состоялось. Он стал объектом государственно-правовой охраны памятников.

Присвоение произведениям архитектурного модерна статуса исторических памятников — довольно грубый способ объявить модерн ушедшим в прошлое. Более тонким и соответственно более внятным является другой способ архитектурного прощания с модерном. В Олд Весбери (Нью-Йорк) стоит дом в стиле так называемого «белого модерна». На первый взгляд неспециалиста в истории архитектуры эта постройка напоминает стиль «Баухауса». В действительности речь идет о завершенной в 1971 г. постройке архитектора Ричарда Мейера. Благодаря большой временной дистанции между постройками Мейера, с одной стороны, и изначальными строениями «Баухауса» — с другой, можно было бы говорить о «неомодерне»[7]. Но со времен возникновения архитектурного историзма* обновление архитектурного стиля, обозначаемое приставкой «нео-», означает не что иное, как его исторически отрефлектированное повторение. Чем больше Мейер поначалу клялся «в верности модерну», тем больше его работам «уже присуще нечто от возрождаемой дистанции по отношению к первообразу. Этой дистанции не хватает спонтанности. Рефлексия оказывается больше естественного продолжения. Впечатляющая сила, излучаемая этими строениями, которые спроектированы с несгибаемой верой в модерн, есть тем не менее только отражение уже прошедшего»[8].

Здесь архитектурный модерн в своем классическом обличье архитектурного антиисторизма окончательно историзирован. Модерн сам выступает как содержание того, чему некогда противился. Историзированный архитектурный антиисторизм — так можно назвать постройку, в которой модерн ведет себя ностальгически по отношению к самому себе и именно этим со всей очевидностью показывает, что он в настоящее время уже не обязателен. Речь поэтому идет о том, чтобы преодолеть современность культурного багажа актом историзирующего цепляния за него. Поскольку в случае сохраняемого таким образом багажа речь идет об архитектурном модерне, конституируется постмодерн.

[6] О «логической структуре» постмодерна см.: *Zimmerli W.Ch.* Die distanzierte Besichtigung der Moderne // Baukultur. 1987. Nr. 2–3. S. 8–11.

[7] Так пишет Х. Клотц: *Klotz H.* Moderne und Postmoderne. Architektur der Gegenwart 1960–1980. 3. Aufl. Braunschweig; Wiesbaden, 1987. S. 318.

* В советской литературе по истории архитектуры был употребителен термин «архитектурная эклектика», а не «архитектурный историзм». Лишь в последние 20 лет постепенно укореняется второй термин.

[8] *Klotz H.* Op. cit. S. 318.

По своей структуре упомянутый процесс не является чем-то новым. Его можно проследить вплоть до истоков исторического сознания. Вспомним, например, картину Каспара Давида Фридриха — вечерний пейзаж с распятым Христом на скале в лучах заходящего солнца[9]. Как известно, речь идет о работе по заказу графини Тун, которая желала поместить картину как алтарный образ в своем замке в северочешском Дечине[10]. Можно предположить, что графиня считала картину, изображающую распятого Христа, подходящей в качестве алтарного образа. А между тем Каспар Давид Фридрих не писал сцену Распятия, отнюдь нет, это был увиденный глазами романтика ландшафт, на котором человек, движимый благочестивым чувством, установил распятие. Пейзаж в качестве алтарного образа? С этим абсолютно не мог согласиться арт-критик Рамдор. Это «дерзость, когда пейзажная живопись проникает в церкви и стремится вползти в алтари»[11]. В качестве алтарного образа годится лишь образ того, к кому относятся почитание и поклонение верующих. На этом Рамдор стоит непреклонно, отвергая тем самым идею того, чтобы на алтаре заменить образ Распятого пейзажем с образом Распятого. Из воспоминания о Боге, приносящем Себя в жертву, на картине получилось бы образное воспоминание о подобном воспоминании. Эта картина, как кажется, адресована не благочестивым верующим, а напротив, почитателям благочестия.

Однако критика Рамдором этого события вносит в пространство выбора то, что может рассматриваться как выбор только рефлектирующим восприятием. Графиня Тун, вероятно, видела благочестивую картину, и вопрос, изображает ли она предмет почитания благочестивых людей или некий пейзаж, несущий отпечаток благочестивого образного воспоминания об этом предмете, не мог быть ее вопросом. Это означает, что ландшафтная картина Каспара Давида Фридриха в качестве алтарного образа допускает оба варианта рассмотрения; то, как в действительности его рассматривают, зависит от уровня рефлексии реципиента. Как только мы это увидели, мы можем считать, в отличие от способного на высокую рефлексию Рамдора, упомянутую картину алтарным образом определенной исторически-рефлектирующей эпохи.

С упомянутым в качестве примера зданием Ричарда Мейера дело обстоит аналогично. Является ли он репрезентантом архитектурного модерна или он благоговейно цитирует его в сознании исторической дистанции, которая от-

[9] Написана в 1807–1808 гг.

[10] Об истории этой картины см.: *Börsch-Supan H., Jähnig K.W.* Caspar David Friedrich. Gemälde, Druckgrafik und bildmäßige Zeichnungen. Studien zur Kunst des 19. Jahrhunderts. Sonderband. Forschungsunternehmen der Fritz Thyssen Stiftung. Arbeitskreis Kunstgeschichte. Herausgegeben vom Deutschen Verein für Kunstwissenschaft. München, 1973. S. 24.

[11] *Ramdohr W.B. von.* Über ein zum Altarblatte bestimmtes Landschaftsgemälde von Herrn Friedrich in Dresden, und über Landschaftsmalerei, Allegorie und Mystizismus überhaupt // Hinz S. (Hrsg.). Caspar David Friedrich in Briefen und Bekenntnissen. Berlin, 1968. S. 138–156, S. 154. Остальные документы, связанные с так называемым «спором с Рамдором» и примыкающие к процитированной критике Рамдора, приводятся в книге, изданной Зигрид Хинц.

деляет нас от модерна? Юмор, присущий зданиям Ричарда Мейера, заключается, по-видимому, в единстве этих допускающих разделение аспектов — перед нами постмодернистский модерн. Жаргонным словцом для описания этой ситуации является «двойное кодирование»[12]. То, что здесь видят, зависит от уровня рефлексии реципиента. Наивный в историческом отношении человек видит модерн; исторически рефлектирующий — видит историзированный модерн. Кто видит, что вещь можно рассматривать и так и сяк, видит постмодернистски.

Постмодерн — это, таким образом, исторически нарушенное актуальное присутствие модерна. А наивный модерн едва ли еще существует. Архитектура модерна, которая, несмотря на вариации, обладает единством как архитектурный антиисторизм, также давно стала объектом исторической памяти. Историзирующая охрана памятников взялась за антиистористскую архитектуру антипамятников. Даже конструктивистская революционная архитектура произвольно цитируется как элемент западной архитектуры благосостояния — примером может служить колоссально знаменитая передвижная ораторская трибуна Эль-Лисицкого для Ленина в берлинском DLRG-Haus Людвига Лео[13].

Архитектура историзма, составляющая контраст архитектуре модерна, была нарративной архитектурой. Она использовала исторические воспоминания, для вызывания которых у публики хватало школьного образования, с целью актуализации смысловых связей, в которые зримо должно быть включено строение. Это всецело удалось историзму — иногда даже с навязчивой сверхъясностью. Неоготические церкви времен культуркампфа были заметны повсюду благодаря своей башне-колокольне, возвышавшейся до небес. Неоренессансное здание гимназии демонстрировало гордость за неогуманистическую систему образования. Банки эпохи грюндерства выставляли на показ мощь необарокко. Городской театр возвещал неоклассическое почтение перед классикой. О всеядности здесь и речи быть не могло. Достаточно было иметь за плечами элементарное историческое образование, чтобы при виде подобной архитектуры распознать ее культурный, политический, да и идеологический смысл.

Как известно, Фридрих Ницше одним из первых начал презирать такие нарративные правдоподобия и, будучи декадентом, утверждал то, что казалось столь очевидным для истористского сознания: удостоверенность смысла посредством архитектурной актуализации прошлого. «Культура есть прежде всего единство художественного стиля во всех жизненных проявлениях», — писал Ницше, отвергая тем самым «хаотическое смешение всех стилей». Она, как

[12] Ср. с этим: *Jencks C.* Post-Modern und Spät-Modern. Einige grundlegende Definitionen // Koslowski P., Spaemann R., Löw R. (Hrsg.). Moderne oder Postmoderne? Zur Signatur des gegenwärtigen Zeitalters. Weinheim, 1986. S. 205–235, см. особенно S. 211 и далее, где автор ссылается на Умберто Эко.

[13] Ср. с этим: *Klotz H.* Vision der Moderne // Klotz H. (Hrsg.). Vision der Moderne. Das Prinzip Konstruktion. München, 1986. S. 9–26, особенно S. 12 и далее. [Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) — Германская служба спасения на водах; здание Центрального офиса службы в Берлине — работа архитектора Людвига Лео.]

казалось ему, выдает слабость в образовании стиля эпохи, которая, стремясь к историзирующей полноте, формировала нео-стиль посредством одновременного присутствия тех стилей, которые некогда, сменяя друг друга, оставляли архитектурный отпечаток на культурном единстве конкретной эпохи[14].

После того как архитектурный историзм, в свою очередь, был давно историзирован, критика, высказанная Ницше, утратила свое правдоподобие. Ницше критиковал стилистический плюрализм архитектурного историзма и не распознал формирующей эпоху силы историзирующего смысла, его суверенности в синхронном использовании исторически крайне разнородных стилевых средств, служащем делу образования. Вид, который наши города, да и села, представляют в определенный момент, является в культуре динамической эволюции eo ipso видом архитектурных реликтов разнородного происхождения. Где тут скрывался декаданс культуры, которая в рефлексивной актуализации объективной историчности своего архитектурного ансамбля эстетизирует именно эту историчность и тем самым синхронно еще раз воспроизводит стилевое напластование? Ницше в его декадентской слабости к новой культуре единого стиля не понял единства рефлексии, которым и обусловлен стилистический плюрализм архитектурного историзма. Отвержение Ницше историзма в условиях цивилизации, которая благодаря рефлексии бесповоротно осознала свою собственную историчность, могло дать новый импульс исторической наивности — но только в акте рефлексивной культур-критики, которая, как только она превращается в арт-политику, стремится культур-революционно заместить культурный плюрализм модерна новой единой культурой. К антимодернистской программе единой культуры модерновых единых партий мы еще вернемся[15].

Однако в контексте своего времени критика Ницше мнимого стилевого хаоса в архитектурном историзме имела более скромное значение, чем та критика, мимо которой мы не можем пройти, имея за плечами накопленный с той поры опыт попыток снова сделать единые стили обязательными в культурном и политическом отношениях. В архитектурном историзме несомненно также присутствовал произвол, в котором даже высокоэрудированный человек едва ли способен обнаружить какой-то смысл. Историко-политический контекст, который делает понятным истористскую неоготику времен культуркампфа, просто невозможно обнаружить в почтамтах, построенных в стиле новой

[14] *Nietzsche F.* David Strauß, der Bekenner und Schriftsteller. Unzeitgemäße Betrachtungen. Erstes Stück // Nietzsche Werke. Kritische Gesamtausgabe / G. Colli, M. Montinari (Hrsg.). III/I. Berlin; New York, 1972. S. 153–238, S. 159. Рус. пер.: *Ницше Ф.* Давид Штраус — исповедник и писатель / пер. с нем. И. Эбаноидзе // Ницше Ф. Полн. собр. соч. в 13 т. Т. 1/2: Несвоевременные размышления. М.: Культурная революция, 2014. С. 7–82, с. 12. Об истории искусства «своеобразного принуждения», стремящегося находить единство эпохи в ее «стилевом единстве», см.: *Schmoll J.A. gennant Eisenwerth.* Stilpluralismus statt Einheitszwang. Zur Kritik der Stilepochen-Kunstgeschichte // Hager W., Knopp N. (Hrsg.). Beiträge zum Problem des Stilpluralismus. München, 1977. S. 9–19, S. 10.

[15] Ср. наст. изд., с. 120.

кирпичной готики в Пруссии между Гумбинненом* и Ахеном[16]. Отмеченный историзмом фасад нидерландских домов периода Высокого Ренессанса не намекает на технику и экономику модерновой прядильной фабрики, а маскирует их, тогда как произвольные цитаты из истории архитектуры на оштукатуренных фасадах доходных домов рядовой застройки в больших городах явно символизируют исторический смысл, который, очевидно, в архитектурном отношении с легкостью можно было бы заменить альтернативным историческим смыслом. Ясно одно, чем бы ни был архитектурный модерн — он покончил с подобным произволом архитектурной историзации. Чтобы упрощенно напомнить о сложной и долгой истории архитектуры в этот период, представим себе, что функционализм модерновых строительно-технических конструкций, который давно сформировался за историзирующими фасадами, однажды стал настолько сильным и уверенным в себе, что смог сбросить эти фасады и предстать в эстетическом плане таким, каков он есть сам по себе. Как повествует эта ультракороткая история, таковым было бы рождение архитектурного модерна из духа непреклонной критики архитектурного историзма.

Чем была бы, в противоположность этому, критика архитектурного модерна, чья непреклонность могла бы тогда сделать понятной возможность архитектурного постмодерна? Ответ на этот вопрос дает, также ультракратко, Юлиус Позенер, опираясь на изречение Ханса Пёльцига: «Какой прок в том, что кто-нибудь снимает со своего дома всякий орнамент, если он вместо этого превратит весь дом в орнамент?»[17]. Историзирующему украшательству пришел конец. Стала невыносима его произвольность, его несвязанность с функцией здания, которое оно должно было украшать. Функционализм торжествует. Если присмотреться, то можно обнаружить, что функционализм, преимущественно определяющий качество впечатления, которое производит архитектурный модерн, теперь, в свою очередь, обнажает вовсе не социальную, экономическую или культурную функцию здания, а только функционализм его конструкции. Место историзирующей эстетики внешних функций здания занимает технизирующая эстетика внутренних функций его конструктивных элементов. Можно обойтись без примеров, свидетельствующих о том, что эта архитектурная эстетизация конструктивного функционализма может быть привлекательной. Цена, которую культура должна была заплатить за это, — уменьшение эстетического наличия функций, определяемых целевым предназначением постройки (прагматический функционализм).

Различие, о котором здесь речь, становится заметным, если задаться вопросом: как, в сущности, с помощью архитектурных средств можно достичь такого эффекта, что по виду здания можно судить о его прагматической функции. Как

* После 1946 г. город Гусев Калининградской области СССР, а затем и РФ. «Между Гумбинненом и Ахеном» — т.е. в Прибалтике, Польше и Северной Германии.

[16] Ср.: *Schwatlo*. Kaiserliches Generalpostamt in Berlin // Zeitschrift für Bauwesen. Berlin, 1875. S. 143 и далее.

[17] *Posener J.* Die moderne Architektur — eine lange Geschichte // Klotz H. (Hrsg.). Vision der Moderne. Das Prinzip Konstruktion. München, 1986. S. 27–32, S. 28.

построить ратушу, чтобы она выглядела как ратуша, или, по аналогии, театр, музей или банк, а также больницу или вокзал? Архитектурный историзм, как следует из вышеприведенных примеров, в некоторых ключевых случаях не испытывал никаких затруднений в ответе на этот вопрос. Архитектура модерна, напротив, в принципе индифферентна по отношению к различиям между административным зданием и гостиницей, между производственным помещением со штабелируемым машинным оборудованием и жилым небоскребом класса «люкс» в большом городе. Во всяком случае турист уже не в состоянии, глядя на силуэты модерновых городов, идентифицировать на основе архитектурного профиля прагматические функции, так что, обозревая город с какого-нибудь высокого здания, он будет вынужден спрашивать, что это такое и где находится то, что ищут и посещают в больших городах. Что верно, то верно: архитектурный историзм также не избежал соблазна, — за вычетом нескольких случаев, еще сегодня приемлемых, где, как в случае гимназии в стиле неоренессанса, историзирующий декор и прагматическая функция соответствуют друг другу как пересказ, — он, в конце концов, изобретал декорации, которые были совершенно индифферентны, т.е. произвольны по отношению к прагматической функции декорируемого здания. Но архитектурный модерн также отнюдь не покончил именно с этой произвольностью эстетики какой-либо постройки в отношении ее прагматической функции. Вместо того чтобы эстетизировать прагматическую функцию здания, он эстетизирует конструктивные функции, еще более усиливая при этом впечатление произвольности. Именно оно в подавляющем числе случаев вклинивается между качеством эстетической привлекательности постройки и ее прагматической функцией. «Именно это имел в виду Пёльциг, говоря, что “Мис [ван дер Роэ] весь дом превратил в орнамент”», — этой цитатой и подведем итог вместе с Юлиусом Позенером[18].

Архитектурный модерн снял эстетические различия — таков итог всего этого. Архитектурный постмодерн — от Вентури до Дженкса, — напротив, их декорировал и снова дифференцировал. Однако было бы неправильно говорить об архитектурном неоисторизме. Ведь тут уже не цитируется изучаемый в архитектурных школах чистый стиль, как это делается в историзме. Наоборот, различные стили эклектически цитируются в их исторической мешанине. Бесспорно, этот прием в производстве и восприятии способен стимулировать нашу фантазию, и там, где сверх того в облике города удается средствами историзирующей цитаты сделать зримыми прагматические функции зданий, там и горожанин обычно ценит постмодерн больше, чем модерн. К сожалению, требующийся здесь высокий полет фантазии не распределен равномерно среди архитекторов, поэтому в контексте архитектурного постмодерна перед нами также открываются пустыни, лишенные всякой фантазии, — в сотый раз те же самые окошки с переплетом и цитатными эркерами! Нет смысла приводить здесь удачные, да и выдающиеся примеры того, как сегодня, даже не подчиняясь особым эстетическим претензиям постмодерна, выходящим за пределы модерна, можно показать архитектурными средствами не только функциона-

[18] Ibid. S. 29.

лизм конструкции, но и одновременно также прагматические функции здания. Музейным архитекторам, в частности, это блестяще удается — прежде всего с помощью архитектурного использования освещения, играющего центральную роль в технике экспозиции. Стоит сравнить с подобными красноречиво говорящими за себя постмодернистскими музейными зданиями или проектами, например, со зданием Берлинской национальной галереи. Это, бесспорно, красивое здание. Но надо наперед знать, что перед вами здание музея, иначе вы это не поймете.

Юрген Хабермас считает, что архитектура модерна есть «первый и единственный обязательный стиль, определяющий даже повседневность, со времен классицизма»[19]. Справедливо считается, что стиль архитектурного модерна как ни один другой стиль утвердился и распространился на международном уровне. Но то, что здесь речь идет об «обязательном» развитии, — это уже нормативное определение в духе цитированной критики историзма у Ницше, которая с отвращением отвергает специфически модерновый плюрализм, высвобожденный как раз благодаря историзму, и вместо этого настаивает на идеалах единой рациональной культуры, которая в условиях цивилизации модерна неизбежно будет оказывать тотализирующее воздействие. Повторим еще раз: верно, что архитектурный модерн получил глобальное распространение — как никакой другой архитектурный стиль до этого, и никто не станет возражать, что это произошло в «русле традиции западного рационализма»[20]. Но что бы тогда означала обязательность этой линии традиции? Глядя более трезво на вещи, Юлиус Позенер дал на этот вопрос такой ответ: «Нужно было двигаться быстро, поэтому это не должно было стоить дорого»[21]. Если мы вспомним то, о чем говорилось ранее, то напрашивающуюся культурную реакцию на воздействие культурной гомогенизации в связи с динамикой распространения модерной архитектуры можно резюмировать следующим образом: вместе с динамикой модерна растет интенсивность нашего обращения к прошлому[22]. Покажем на примере, что это означает. Чем больше силуэт Франкфурта становился похож на силуэт Денвера или Далласа, тем невыносимей для жителей Франкфурта, по-видимому, казалась идея, что надо взорвать истористские руины их оперного театра, выдержанного в стиле крупной буржуазии, а на его месте построить нечто модерновое. Вот почему они тщательно реконструировали этот памятник архитектурного историзма, затратив на это десятки миллионов марок и тут же еще напротив Старой ратуши (Römer) возвели музеефицированные копии эффектных фахверковых домов. Чем стремительнее модерн объединяет наши цивилизационные жизненные среды семейным родством,

[19] *Habermas J.* Moderne und postmoderne Architektur // Habermas J. Die neue Unübersichtlichkeit. Frankfurt am Main, 1985. S. 11–29, S. 15.

[20] Ibid.

[21] *Posener J.* Op. cit. (См. примеч. 17.) S. 31.

[22] Принципиальные соображения относительно этой комплементарной связи см. в моей книге: *Lübbe H.* Geschichtsbegriff und Geschichtsinteresse. Analytik und Pragmatik der Historie. Basel; Stuttgart, 1977.

тем более мы заинтересованы в том, чтобы в ходе деятельности по охране памятников или аналогичных мероприятий подчеркнуть историческое сознание и постоянно держать на виду то, чем мы в силу контингентных особенностей происхождения являемся и что нас в этом отличает от других. Наша история говорит, кто мы, и настоятельная потребность дать ей возможность говорить это со всей определенностью возрастает вместе с успешным распространением цивилизационной модернизации, в которую мы все включены.

Было бы странно, если бы архитектура, которая, будучи архитектурой модерна, как никакой другой элемент культуры усилила интерес к компенсаторной актуализации прошлого[23] вплоть до сохранения стабильного облика города, в свою очередь, не научилась бы соответствовать в духе неоисторизма указанной растущей потребности в прошлом, специфической для модернизации. Нет нужды в дополнительном объяснении, что этот неоисторизм постмодерна уже не может ориентироваться на истористские идеалы чистоты стиля. Да и в деле охраны памятников подобные идеалы чистоты стиля, еще служившие мерилом в XIX в., давно признаны неисторичными конструктами. В связи с требованием Ницше, настаивавшем на единстве стиля, идеалы чистоты стиля должны были бы действовать в контексте культуры модерна культур-революционно; диктатура стиля в художественной и архитектурной политике тоталитарных властей в нашем столетии доказывает это. Чем динамичней развивается культура, тем больше становится гетерогенность одновременно сосуществующих культурных элементов, различающихся возрастом. Разновременность одновременного отражает не отсутствие у современности способности придти к единству одного представляющего ее стиля, а динамику развития стилей. Напластование — это, повторим, подходящая геологическая метафора для культуры, которая, оставляя за собой свое прошлое быстрее, чем любая культура прежде, в пестрой (disparat) полноте своей конкретной современности объяснима только исторически. Именно этот характер напластования, свойственный нашей культуре и обусловленный ее эволюционной динамикой, эстетизируется постмодерном, который повторяет и удваивает этот характер в архитектуре...

[23] В связи с этим компенсаторным аргументом ср. *Marquard O.* Über die Unvermeidlichkeit der Geisteswissenschaften // Almanach. Ein Lesebuch. Bd. I. 1987. S. 107–118.

1.4. *Экскурс в область архитектурного воссоздания*

Воссоздание* — это искусство старое заново делать старым. А точнее, воссоздание есть искусство заново делать старым то новое, в которое незадолго до этого в результате переделки было превращено то же самое старое.

Воссоздание, восстановление, новое строительство или реконструкция — это не какие-то мелочи. Планы по воссозданию включают проекты, которые по своему числу и масштабу суммарно требуют миллиардных затрат. Уже давно специалисты по воссозданию работают в государственной администрации и в дополнение к этому — также и в строительной отрасли. Появятся ли в отделах распределения работ в районных администрациях подразделения по воссозданию — покажет будущее. Во всяком случае, из уст наших коммунальщиков, да и парламентариев слово «воссоздание» слетает непринужденно и без всяких иронических обертонов.

Примеров давно завершенных работ по воссозданию можно привести множество. Достаточно внимательного взгляда туриста, чтобы заметить их. Колоссальные изменения нашей ландшафтной жизненной среды вносит прежде всего фундаментальное строительство (Tiefbau**) в форме фундаментального воссоздания. Водные потоки, которые еще 25 лет тому назад вились по низинным лугам, а затем были спрямлены и заключены в каналы, теперь заново пущены в извилистые русла, по которым даже неспециалист видит, что они являются не результатом естественной динамики течения реки, а реализацией планов по воссозданию.

Динамика культуры строительства ведет к тому, что в некоторых регионах строительство и комплементарное ему воссоздание можно наблюдать одновременно. В рамках старых, но еще действующих программ мелиорации закисленные почвы лугов раскисляются, тогда как там уже прошло заболачивание. Новый термин «влажный биотоп» («Feucht-biotop») известен сегодня каждому школьнику, но быстро растущее множество ареалов в ландшафтном пространстве, обозначаемых этим словом, состоит уже не из реликтов некультивированного слоя, а из результатов декультивации, осуществленной с помощью техники, появившейся благодаря модерновой культуре воссоздания. Надежды, которые возлагались на производительность этой техники, простираются порой весьма далеко. Считается возможным создать такие условия, при которых

* «Rückbau» — букв.: «обратное строительство». В русском языке наиболее близким термином является понятие «архитектурная реставрация и реконструкция».

** Перевод «фундаментальное строительство» здесь выбран произвольно, так как в русской инженерно-строительной терминологии нет понятия, соответствующего немецкому «Tiefbau», под которым понимается строительство объектов на земле и под землей, лежащих ниже уровня путей сообщения (за исключением мостов, которые также относятся к области «Tiefbau»).

вновь начнут расти высокие болота. Если это удастся, то через тысячу лет можно будет рассчитывать на прирост торфяного слоя в один метр. Однако торфяная промышленность в местностях, где из-за сложившейся ситуации реактивирование болот уже невозможно и, соответственно, где предприятиям торфяной промышленности дают возможность продолжать работу, остатки ресурсов старых болот в обязательном порядке будут подчищены в течение пяти лет. Дорожно-строительная техника тем временем также доросла до уровня техники, предназначенной для воссоздания. Там, где для расширения проезжей части еще десять лет назад срезали палисадники перед домами, теперь, напротив, планируют сужение, чтобы получить полосы для тротуаров и велосипедных дорожек. Для этого достаточно вновь преобразовать улицы в аллеи. Водные пути (каналы, если точнее), давно утратившие свою функцию в транспортно-экономическом отношении, были засыпаны в годы хозяйственного строительства; теперь их снова раскапывают и для повышения привлекательности для набирающего популярность водно-спортивного движения снабжают всяческими ностальгическими реквизитами типа подъемных или разводных мостов.

В высотном строительстве также разворачивается воссоздание. Небоскребы, которые еще в начале 60-х годов XX в. представляли собой интерес для средних городов как представители архитектурного модерна, укорачиваются сегодня на два-три этажа, чтобы освободить старый вид на отреставрированную башенку. В работе по охране памятников, уже проанализированной на предмет смысла ее культуры обхождения со временем, дела обстоят аналогичным образом. Все же охрана памятников это не воссоздание зданий — если только речь не идет, как в случае возврата барочных элементов готическим церквям, некогда их лишенным, о реализуемом в рамках деятельности по охране памятников воссоздании того самого пуристского памятникоохранного воссоздания вчерашнего дня, которое сегодня воспринимается как вандализм. Фасады универмагов, которые некогда относились к Corporate Identity* концерна, задним числом приспосабливаются к окружающему архитектурному ансамблю. Некогда закрытые узкие переулки, которые сегодня вместо улиц соединяют пешеходные зоны, пробиваются заново, а площади, которые в свое время превратились в перекрестки со светофором, трансформируются обратно в пешеходные.

Очень интересно было бы проиллюстрировать неудержимое, по всей видимости, наступление воссоздания дополнительными примерами — от заново открытых пойл для лошадей через восстановленные трассы давно закрытых железнодорожных линий с целью их использования в качестве туристских пешеходных троп вплоть до восстановления пустошей, которые заросли без пасущихся овец, путем ликвидации березняков. Но важнее не дать ввести себя в заблуждение семантической привлекательностью слова «воссоздание». Ведь нигде в результате «воссоздания» ничего не было восстановлено из того, что некогда существовало. Строения, возведенные в ходе воссоздания, это не строения, которые стояли тут прежде. В качестве природоохранных сооружений они не стирают линию фронта между культурой и природой, а подчиняют природу

* Фирменный стиль (*англ.*).

культурной технике сохранения того, что от нее осталось. Копия фасада ряда фахверковых домов в центре восстановленного большого города являет собой, как мы видели, не столько фрагмент реконструированной истории градостроительства, сколько господствующую в настоящий момент градостроительную эстетику, которая спекулирует на привлекательности, всегда сопутствующей контрасту старого и нового, даже в тех случаях, когда контраст на самом деле является контрастом не старого и нового, а нового и вновь сделанного старого. Да и заново проложенный с искусственными излучинами ручей уже не вьется, а спешит между надежно укрепленными берегами с пониженной скоростью течения к водоподъемному сооружению. Его приятная вода радует свежестью благодаря эффективной работе окрестных очистных сооружений, а обильная молодь ценных рыб — результат деятельности союзов рыболовов. Короче говоря, воссоздание — культурно-эволюционное явление, характерное для модерна. Если смотреть из будущего, для которого наша современность является прошлым, оно окажется одной из исторических характеристик нашей эпохи.

Прагматика движения за воссоздание не нуждается в разъяснении. Оно руководствуется самоочевидными вещами — в охране природы и в охране памятников, в экологии и организации досуга. По своей структуре воссоздание носит компенсаторный характер. Оно не переносит нас в более ранние эпохи цивилизационной эволюции, но компенсирует последующие затраты этой эволюции. Культурно-критический вопрос — а не лучше было бы сохранить все в прежнем состоянии, попытки превзойти которое вынуждают нас прибегнуть к дорогостоящим компенсаторным методам воссоздания, — выдумывает такие альтернативы для наших действий, которых никогда не было. Динамика цивилизационной эволюции связана не с нашим произволом, а с самоочевидностью жизненных преимуществ, которые можно было достичь только в этой цивилизации. Быстро растущие расходы на воссоздание составляют часть расходов, на которые мы вынуждены идти для осуществления этих жизненных преимуществ. Феномены воссоздания демонстрируют нам тем самым не иллюзорный характер надежд, которые мы некогда возлагали на цивилизационный проект. Они демонстрируют, напротив, что во многих жизненных сферах цена прогресса растет быстрее, чем жизненные преимущества, которые давали нам возможность, абсолютно справедливо, признавать прогрессивный характер цивилизационной эволюции. Расходы на воссоздание — это часть расходов, которые дают нам понять, что и для прогресса справедлив закон уменьшения предельной полезности[1].

[1] В дополнение к этой интерпретации изменившегося отношения к нашим цивилизационным жизненным предпосылкам и прогрессивной природе их эволюции см. мою книгу: *Lübbe H.* Der Lebenssinn der Industriegesellschaft. Über die moralische Verfassung der wissenschaftlich-technischen Zivilisation. Berlin; Heidelberg; New York; London; Paris; Tokyo; Hong Kong, 1990.

Научное издание
Серия «Исследования культуры»

ГЕРМАН ЛЮББЕ

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
СОКРАЩЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В НАСТОЯЩЕМ

Второе издание

Главный редактор
ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ

Заведующая книжной редакцией
ЕЛЕНА БЕРЕЖНОВА

Редактор
МАРИЯ РУМЯНЦЕВА

Художник
ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ

Верстка
СВЕТЛАНА РОДИОНОВА

Корректор
ЕЛЕНА АНДРЕЕВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
101000, Москва, ул. Мясницкая, 20,
тел.: 8 (495) 772-95-90 доб. 15285

Подписано в печать 19.11.2018. Формат 70×100/16
Гарнитура Minion Pro. Усл. печ. л. 37,1. Уч.-изд. л. 30,9
Бумага офс. № 1. Печать офсетная. Тираж 600 экз.
Изд. № 2233. Заказ №

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
www.chpd.ru, e-mail: sales@chpd.ru,
тел.: 8 (499) 270-73-59